

## ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

### Короб второй и последний

Чем старее дерево, тем больше падает с него листьев. Завещая по «†» моей перепечатывать все аналогичные и продолжающие «Уедин.» и «Опав. листья» книги в том непременно виде, как напечатаны они (т. е. с новой страницы каждый новый текст), я, в целях компактности и, след., ускорения печатания «павших листов», отступаю от прежней формы, с крайним удручением духа.

«Опав. Листья» изд. 1913 г. представляет  $\frac{1}{2}$  или  $\frac{1}{3}$  того, что записалось за 1912 г., причем печатались они в таком состоянии духа, что я их почти не приводил в порядок хронологически. Так, все помеченное «Клиника Елены Павловны» — относится к октябрю, ноябрю и декабрю месяцам,— и должно быть отнесено в конец издания за этот год. Вообще же, печатающееся ныне должно быть как-то «стасовано» («тасуем карты») с изданным в 1913 году,— листок за листом,— и, во всяком случае, не в том порядке и виде, как было издано в 1913 г.

Во 2-м коробе листы лежат в строгом хронологическом порядке, насколько его можно было восстановить по пометкам и по памяти.

Самая почва «нашего времени» испорчена, отравлена. И всякий дурной корень она жадно хватает и произращает из него обильнейшие плоды. А добрый корень умерщвляет.

*(сматывая на портрет Страхова: почему из «сочинений Страхова» ничего не вышло, а из «сочинений Михайловского» вышли школьные учителя, Тверское земство и множество добросовестно работающих, а частью только болтающих, лекарей).*



Страшная пустота жизни. О, как она ужасна...



Теперь в новых печках повернул ручку в одну сторону — труба открыта, повернул в другую сторону — труба закрыта. Это не благочестиво. Потому что нет разума и заботы.

Прежде, возьмешь маленькую вышушку — и надо ее не склонить ни вправо, ни влево — и она ляжет разом и приятно. Потом большую вышушку,— и она покроет ее, как шапка.

Это правильно.

Раз я видел новое жнитво: не мужик, а рабочий сидел в чем-то, ни — телега, ни — другое чтó, ее тянула пара лошадей; колымага колыхалась, и мужик в ней колыхался. А справа и слева от колымаги, как клешни, вскидывались кверху не то косы, не то грабли. И делали дело, не спорю — за двенадцать девушек. Только девушки-то эти теперь сидели с молодцами за леском и финтили. И сколько им ни наработает рабочий с клешнями, они все профинят.

Выйдут замуж — и профинят мужнее.

Муж, видя, что жена финит — завел себе на стороне «занобушку».

И повалилось хозяйство.

И повалилась деревня.

А когда деревни повалились — зачернел и город.  
Потому что не стало головы, разума и Бога.



Несут письма, какие-то теософические журналы (не выписы-  
ваю). Какое-то «Таро»... Куда это? зачем мне?

«Прочти и загляни».

Да почему я должен во всех вас заглядывать?



То знание ценно, которое острой иголкой прочертило по ду-  
ше. Вялые знания — бесцennы.

(на поданной почтовой квитанции).



С выпущенными глазами и облизывающийся — вот я.  
Некрасиво?  
Что делать.



...иногда кажется, что во мне происходит разложение лите-  
ратуры, самого *существа* ее. И, может быть, это есть мое мировое  
«*emploi*»\*. Тут и моя (особая) мораль, и имморальность.  
И вообще мои дефекты и качества. Иначе, нельзя понять. Я ввел  
в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения  
души, паутинки быта. Но вообразить, что это было возможно  
потому, что «я захотел», никак нельзя. Сущность гораздо глуб-  
же, гораздо лучше, но и гораздо страшнее (для меня): безгра-  
нично страшно и грустно. Конечно, не бывало еще примера, и  
повторение его немыслимо в мироздании, чтобы в тот самый миг,  
как слезы текут, и душа разрывается — я почувствовал не  
ошибающимся ухом слушателя, что они текут литературно,  
музыкально, «хоть записывай»: и ведь только потому я запи-  
сывал («Уединенное», — девочка на вокзале, вентилятор).  
Это так чудовищно, что Нерон бы позавидовал; и «простимо»

\* Занятие, призвание (франц.).

лишь потому, что фатум. Да и простимо ли?.. Но оставим грехи; таким образом, явно во мне есть какое-то завершение литературы; литературности; ее существа,— как потребности отразить и выразить. Больше что же еще выражать? Паутины, вздохи, *последнее уловимое*. О, фантазировать, творить еще можно: но ведь суть литературы не в *вымысле же*, а в потребности *сказать сердце*. И вот с этой точки я кончу и кончил. И у меня мелькает странное чувство, что я *последний писатель*, с которым литература вообще прекратится, кроме хлама, который тоже прекратится скоро. Люди станут просто *жить*, считая смешным, и ненужным, и отвратительным литераторствовать. От этого, может быть, у меня и сознание какого-то «последнего несчастья», сливающегося в моем чувстве с «я». «Я» это ужасно, гадко, огромно, трагично последней трагедией: ибо в нем как-то диалектически «разломилось и исчезло» колossalное тысячелетнее «я» литературы.

— Фу, гад! Исчезни и пропади!

Это частое мое чувство. И как тяжело с ним жить.

(*ожидаясь очереди пройти исповедываться*). (1-ая гимназия).



Какие добрые бывают (иногда) попы. Иван Павлиныч взял под мышку мою голову и, дотронувшись пальцем до лба, сказал: «Да и что мы можем знать с *нашей черепушкой*? (мозгом, разумом, черепом). Я ему сказал разные экивоки и «сомнения» за годы Рел.-фил. собраний. И так сладко было у него поцеловать руку. Исповедывал кратко. Ждут. Служба и доходы. Так «быт» мешается с небесным глаголом,— и не забывай о быте, слушая глагол, а, смотря на быт, вспомни, что ты, однако, слышал и глаголы. Но Слободской — глубоко бескорыстен. Спасибо ему. Милый. Милый и умный (очень).



Есть люди, которые рождаются «ладно» и которые рождаются «не ладно».

Я рожден «не ладно»: и от этого такая странная, колючая биография, но довольно любопытная.

«Не ладно» рожденный человек всегда чувствует себя «не в своем месте»: вот, именно, как я всегда чувствовал себя.

Противоположность — бабушка (А. А. Руднева). И ее благородная жизнь. Вот кто родился... «ладно». И в бедности, ничтожестве положения — какой непрерывный свет от нее. И польза. От меня, я думаю, никакой «пользы». От меня — «смута».



Я мог бы наполнить багровыми клубами дыма мир... Но не хочу.

[«Люди лунного света» (если бы наставать); 22 марта 1912 г.]

И сгорело бы все... Но не хочу.

Пусть моя могилка будет тиха и «в сторонке».

(«Люди лун. св.\*, тогда же).



Работа и страдание — вот вся моя жизнь. И утешением — что я видел заботу «друга» около себя.

Нет: что я видел «друга» в самом себе. «Портретное» пре- восходило «работное». Она еще более меня страдала и еще больше работала.

Когда рука уже висела,— в гневе на недвижность (весна 1912 года), она, остановясь среди комнаты — несколько раз взмахнула обеими руками: правая делала полный оборот, а левая — поднималась только на небольшую дугу, и со слезами стала выкрикивать, как бы топая на больную руку:

— Работай! Работай! Работай! Работай!

У нее было все лицо в слезах. Я замер. И в восторге, и в жалости.

(левая рука имеет жизнь только в плече и локте).



«Ты тронь кожу его», — искал Сатана Господа об Иове...

Эта «кожа» есть у всякого, у всех, но только она не одинаковая. У писателей, таких великодушных и готовых «умереть за человека» (человечество), вы попробуйте задеть их *авторство*, сказав: «*Плохо пишете*, господа, и *скучно* вас читать», — и они с вас кожу сдерут. Филантропы, кажется, очень не любят «отчета о деньгах». Что касается «духовного лица», то оно, конечно, «все в благодати»: но вы затроньте его со стороны «рубля» и наград — к празднику — «палицей», «крестом или камилавкой»: и «лицо» начнет так ругаться, как бы русские никогда не были крещены при Владимире...

(получив письмо попа Альбова).



Ну, а у тебя, Вас. Вас., где «кожа»?

Сейчас не приходит на ум, но, конечно — есть.



Поразительно, что у «друга» и Устьинского нет «кожи». У «друга» — наверное, у Устьинского — кажется, наверное. Я никогда не видел «друга» оскорбившимся и в ответ разгневанным (в этом все дело, об этом Сатана и говорил). Восхитительное в нем — полная и спокойная гордость, молчаливая, и которая ни разу не сжалась и, разогнувшись пружиной, ответила бы ударом (в этом дело). Когда ее теснят — она посторонится; когда нагло смотрят на нее — она отходит в сторону, отступает. Она никогда не поспорила, «кому сойти с тротуара», кому стать «на коврик», — всегда и первая уступая каждому, до зова, до спора. Но вот прелесть: когда она отступала — она всегда была царицею, а кто «вступал на коврик» — был и казался в этот миг «так себе». Кто учил?

Врожденное.

Прелесть манер и поведения — всегда врожденное. Этому нельзя научить и выучиться. «В моей походке — душа». К сожалению, у меня, кажется, преотвратительная походка.



Цензор только тогда начинает «понимать», когда его Краевский с Некрасовым кормят обедом. Тогда у него начинается пищеварение, и он догадывается, что «Щедрина надо пропустить».



Один 40-ка лет сказал мне (57 л.): — «Мы понимаем *все*, что и вы». — Да, у них «диплом от Скабичевского» (кончил университет). Что же я скажу ему? — «Да, я тоже учился только в университете, и дальше некуда было пойти». Но печальна была бы образованность, если бы дальше нас и цензорам некуда было «ходить».

Они грубы, глупы и толстокожи. Ничего не поделаешь. Из цензоров был *литературен* один — Мих. П. Соловьев. Но на него заорали Щедрины: «Он нас не пропускает! Он консерватор». Для всей печати «в цензора» желателен один Балалайкин, человек ловкий, обходительный и либеральный. Уж при нем-то литература процветет.

(арестовали «Уедин.» по распоряжению петроградск. цензуры).



Почему я издал «Уедин.»?

Нужно.

Там были и побочные цели (главная и ясная — соединение с «другом»). Но и еще сверх этого, слепое, неодолимое

Н У Ж Н О.



Точно потянуло чем-то, когда я почти автоматично начал нумеровать листочки и отправил в типографию.



Да, «эготизм»: но чего это стойло!

Отсюда и «Уед.» как попытка выйти из-за ужасной «занавески», из-за которой не то чтобы я не хотел, но не мог выйти...

Это не физическая стена, а духовная,— о, как страшней физической.

Отсюда же и привязанность или, вернее, какая-то таинственная зависимость моя от «друга»... В которой *одной* я сыскал что-то *нужное* мне... Тогда как суть «стены» заключается в «не нужен я» — «не нужно мне»... Вот это «не нужно» до того ужасно, плачевно, рыдательно, это такая метафизическая пустота, в которой невозможно жить: где, как в углекислоте, «все задыхается».

И, между тем, во мне есть «дыханье». «Друг» и дал мне возможность дыханья. А «Уед.» есть усилие расширить дыхание, и прорваться к люд., кот. я искренне и глубоко люблю.

Люблю, а не чувствую. Ловлю — но воздух. И как будто хочу сказать слово, а пустота не отражает звука.

Ведь я никогда не умел себе представить читателя (совет Страхова). Знал — читают. И как будто не читают. И «не читают», «не читает ни один человек» — живее и действительнее, чем что читают многие.

И тороплюсь издавать. Считаю деньги. Значит, знаю, что «читают»: но момент, что-то перестроилось перед глазами, перед мыслю, и — «не читают» и «ничего вообще нет».

Как будто глаз мой (дух) на уровне с доской стола. И стол — тоненький лист. Дрогнуло: и мне открыто под столом — вовсе другое, нежели на столе. Зрение переместилось на миллиметр. «На столе» — наша жизнь, «читают», «хлопочу»; «под столом» — ничего вообще нет или совсем другой вид.



Любить — значит «не могу без тебя быть», «мне тяжело без тебя»; «везде скучно, где не ты».

Это внешнее описание, но самое точное.

Любовь вовсе не огонь (часто определяют), любовь — воздух. Без нее — нет дыхания, а при ней «дышится легко».

Вот и все.



Печальны и запутаны наши общественные и исторические дела... Всегда передо мною гипсовая маска покойного нашего философа и критика, Н. Н. Страхова,— снятая с него в гробу. И когда я взглядаю на это лицо человека, прошедшего в жизни нашей какою-то тенью, а не реальностью,— только от того одного, что он не шумел, не кричал, не агитировал, не обличал, а сидел тихо и тихо писал книги,— у меня душа мутится... Судьба Константина Леонтьева и Говорухи-Отрока...

Да и сколько таких. Поистине, прогресс наш может быть встречен словами: «*togituri te salutant*»\* — из уст философов, поэтов, одиночек-мыслителей. «Прогресс наш» совершился при «непременном требовании», — как говорится в полицейских требованиях и распоряжениях, — чтобы были убраны «с глаз долой» все люди с задумчивостью, пытливостью, с оглядкой на себя и обстоятельства.

С старой любовью к старой родине...

Боже! если бы стотысячная, пожалуй, даже миллионная толпа «читающих» теперь людей в России с таким же вниманием, жаром, страстью прочитала и *продумала* из страницы в страницу Толстого и Достоевского,— задумалась бы над каждым их рассуждением и каждым художественным штрихом,— как это она сделала с *каждою страницею* Горького и Л. Андреева, то общество наше выросло бы уже теперь в страшно серьезную величину. Ибо даже без всякого *школьного учения*, без знания *географии и истории*, — просто «передумать» только Толстого и Достоевского — значит стать как бы Сократом по уму, или Эпиктетом, или М. Аврелием,— люди тоже не очень «зnavшие географию» и «не кончившие курса в гимназии».

\* Обреченные на смерть тебя приветствуют (лат.).

Вся Греция и Рим питались только литературою: школ, в нашем смысле, вовсе не было! И как возросли. Литература, собственно, есть естественная школа народа, и она может быть единственную и достаточную школою... Но, конечно, при условии, что весь народ читает «Войну и мир», а «Мальву» и «Трою» Горького читают только специалисты-любители.

И это было бы, конечно, если бы критика, печать так же «задыхались от волнения» при появлении каждой новой главы «Карениной» и «Войны и мира», как они буквально задыхались и продолжают задыхаться при появлении каждой «вещи» в 40 страничек Леонида Андреева и М. Горького.

Одно это неравенство весов отодвинуло на сто лет назад русское духовное развитие,— как бы вдруг в гимназиях были срезаны старшие классы, и оставлены одни младшие, одна прогимназия.

Но откуда это? почему?

Как же: и Л. Андреев, и М. Горький были «прогрессивные писатели», а Достоевский и Толстой — русские одиночки-гении. «Гений — это так мало»...

Достоевский, видевший все это «сложение обстоятельств», желчно написал строки:

«И вот, в ХХI столетии,— при всеобщем реве лиżącej толпы, блузник с сапожным ножом в руке поднимается по лестнице к чудному Лику Сикстинской Мадонны: и раздерет этот Лик во имя всеобщего равенства и братства»... «Не надо гениев: ибо это — аристократия». Сам Достоевский был бедняк и демократ: и в этих словах, отнесенных к будущему торжеству «равенства и братства», он сказал за век или за два «отходную» будущему торжеству этого строя.



Чего я совершенно не умею представить себе — это чтобы он запел песню или сочинил хоть в две строчки стихотворение.

В нем совершенно не было певческого, музыкального начала. Душа его была совершенно без музыки.

И в то же время он был весь шум, гам. Но без нот, без темпов и мелодии.

Базар. Целый базар в одном человеке. Вот — Герцен. Оттого так много написал: но ни над одной страницей не впадает в задумчивость читатель, не заплачет девушка. Не заплачет, не замечается и даже не вздохнет. Как это бедно. Герцен и богач, и бедняк.



«Я до времени не беспокоил ваше благородие, по тому самому, что мне хотелось накрыть их тепленькими».

Этот фольклор мне нравится.

Я думаю, в воровском и в полицейском языке есть нечто художественное.

Сюда Далю не мешало бы заглянуть.

(на процессе Бутурлина мелкий чиновничек, высаживавший в подражание Шерлоку Холмсу Обриена-де-Ласси и Панченко).



Вся «цивилизация XIX-го века» есть медленное, неодолимое и, наконец, восторжествовавшее просачивание всюду кабака.

Кабак просочился в политику — это «европейские (не английский) парламенты».

Кабак прошел в книгопечатание. Ведь до XIX-го века газет почти не было (было кое-что), а была только литература. К концу XIX-го века газеты заняли господствующее положение в печати, а литература — почти исчезла.

Кабак просочился в «милое хозяйство», в «свое угодье». Это — банк, министерство финансов и социализм.

Кабак просочился в труд: это фабрика и техника.

Раз я видел работу «жатвенной машины». И подумал: тут нет Бога.



Бога вообще в «кабаке» нет. И сущность XIX-го века заключается в оставлении Богом человека.



Измайлов (критик) не верил, будто я «не читал Щедрина». Между тем как в круге людей нашего созерцания считалось

бы невежливостью в отношении ума своего читать Щедрина.

За 6 лет личного знакомства с Страховым я ни разу не слышал произнесенным это имя. И не по вражде. Но — «не приходит на ум».

Тоже Рцы, Флоренский, Рачинский (С. А.): никогда не слыхал.

Хотя, конечно, все знали суть его. Но:

— Мы все-таки учились в университете.

(май 1912 г.)



Из всего «духовного» ему нравилась больше всего основательная дубовая кожаная мебель.

И чин погребения.

Входит в начале лета и говорит:

— Меня приглашают на шхуну, в Ледовитый океан. Два месяца плавания. Виды, воздух. Гостем, бесплатно.

— Какие же вопросы? Поезжайте!!

— И я так думал и дал согласие.

— Отлично.

— Да. Но я отказался.

— Отказались?!

— Как же: ведь я могу заболеть в море и умереть.

— Все мы умрем.

— Позвольте. Вы умрете на суше, и вас погребут по полному чину православного погребения. Все пропоют и все прочитают. Но на кораблях совершенно не так: там просто по доске спускают в воду зашитого в саван человека, прочитывая «напутственную молитву». Да и ее лишь на военном корабле читает священник, а на торговом судне священника нет, и молитву говорит капитан. Это что же за безобразие. Такого я не хочу.

— Но, позвольте: ведь вы уже умрете тогда, — сказал я со страхом.

— Те-те-те... Я так не хочу!!! И отказался. Это безобразие.

Черные кудри его, по обыкновению, тряслись. Штаны хлопались, как паруса, около тоненьких ног. Штиблеты были с французскими каблуками.

Мне почудилось, что через живого человека, т. е. почти живого, «все-таки», — оскалила зубы маска Вольтера.

(наш Мадмазелькин).



Хороши делают чемоданы англичане, а у нас хороши народные пословицы.

(собираюсь в Киев) † Столыпин).



Только то чтение удовлетворительно, когда книга *переживается*. Читать «для удовольствия» не стоит. И даже для « пользы» едва ли стоит. Больше пользы приобретешь «на ногах», — просто живя, делая.

Я *переживал* Леонтьева (К.) и еще от части Талмуд. Начал «переживать» Метерлинка: страниц 8 я читал неделю, впадая почти после каждого 8-ми строк в часовую задумчивость (читал в конке). И бросил от труда переживания, — великолепного, но слишком утомляющего.

Зачем «читал» другое — не знаю. Ничего нового и ничего поразительного.



Пушкин... я его ел. Уже знаешь страницу, сцену: и перечтешь вновь; но это — *еда*. Вошло в меня, бежит в крови, освещает мозг, чистит душу от грехов. Его

Когда для смертного умолкнет шумный день

одинаково с 50-м псалмом («Помилуй мя, Боже»). Так же велико, оглушительно и религиозно. Такая же правда.



Слабохарактерность — главнейший источник неправдивости. Первая (неодолимая) неправда — из боязни обидеть другого.

И вот почему Бог не церемонится с человеком. Мы все церемонимся друг с другом и все лжем.

(за нумизматикой).



Чтó я все нападаю на Венгерова и Кареева. Это даже мелочно...

Не говоря о том, что тут никакой нет «добродетели».



Труды его почтены. А что он всю жизнь работает над Пушкиным, то это даже трогательно. В личном обращении (раз) почти приятное впечатление. Но как взгляну на живот — уже пишу (мысленно) огненную статью.



Ужасно много гнева прошло в моей литерат. деятельности. И все это напрасно. Почему я не люблю Венгерова? Странно сказать: оттого, что толст и черен (как брюхатый таракан).



Александр Македонский с 30-ти тысячным войском решил покорить монархии персов. Это чтó нам, русским: Пестель и Волконский решили с двумя тысячами гвардейцев покорить Россию...

И пишут, пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с «русскими женщинами».

(на извозчике).



Нужно разрушить политику... Нужно создать аполитичность. «Бог больше не хочет политики, залившей землю кровью»... обманом, жестокостью.

Как это сделать? Нет, как возможно это сделать?

Перепутать все политические идеи... Сделать «красное — желтым», «белое — зеленым», — «разбить все яйца и сделать яичницу»...

Погасить политическое пыление через то, чтобы вдруг «никто ничего не понимал», видя все «запутанным» и «смешавшимся»...

А, вам нравилось, когда я писал об «адогматизме христианства», т. е. об отрицании *твёрдых*, жестких, не уступчивых костей, линий в нем... Аплодировали.

Но почему?

Я-то думал через это мягкое, нежное, во все стороны по-дающееся христианство — указать возможность «спасти истины». Но аплодировали-то мне *не за это*, я это видел: а — что это сокращает *догматическую церковь*... «Парное молоко потом само испарится: а пока и сейчас — сломать бы косточки, которые нам мешают и мы справиться с ними не умеем».

Меня пробрал прямо ужас ввиду всеобщих *культурно-разрушительных* тенденций нашего времени... «Все бы — нивелировать... Одна — *пустыня*»... Кому? Зачем?

А вот «нам», «политикам»... В стране, свободной от всего, от церкви, от религии, от поэзии, от философии — Кузьмины-Караваевы и Алексинские разгулялись бы...

Тогда пойдут иные речи...

Но мне, ну вот, именно, *мне* (каприз истории), до последней степени тошно от этих речей. «Земля уже обернулась около оси», и «всемирная скука», указанием на которую я начал книгу о революции, угрожает теперь с другой стороны,— именно из «речей»...

Пусть они *потускнеют*...

Пусть *подсчитется нерв в них*...

Савва в рассказе Максима Горького взывает чудотворный образ, родник «народного энтузиазма», — «суеверного, ложно-го»... Ну, хорошо. «Потому что христианства не нужно». Вся Россия аплодировала.

«Политики» стали пятой на горло невест, детей, вдов (случаи, на которых я остановился в печати). «Кто не оставит отца и матери ради Имени Моего», — кричит политика... «И — детей, и — дома ваши»...

«Хорошо, хорошо», — слушаю я.

Теперь дайте же я полью серною кислотою в самый стержень, на коем «вертится» туда и сюда «политическая дверь»; капну кислотою в самую «середочку», в самую «душку» их... Что такое? В — *политическое убеждение* (то же, что «догмат» в христианстве). Ну, как? «Спорят»... «партии».

— Господа, — можно иметь *все убеждения*, принадлежать

*ко всем партиям...* притом совершенно искренне! чистосердечно!! до истерики!!! В то же время не принадлежа и ни к одной и тоже «до истерики».

Я начал, но движение это пойдет: и мы, философы, религиозные,— люди уж, во всяком случае, «высшего этажа», чем в каком толчутся политики,— разрушим мыслью своею, поэзией своей, своим «другим огнем», своим жаром,— весь этот кроваво-гнойный этаж...

Ведь все партии «доказывают друг другу»... Но чего же мне (и «нам») доказывать, когда «мы совершенно согласны»...

Согласны с тоном и «правых», и «левых»... с «пафосом» их, и — согласны совершенно патетически.

Явно, что когда лично и персонально все партии сольются «в одной душе»,— не для чего им и быть как *партиям*, в *противоречии* и в *споре*... Партии исчезнут. А когда исчезнет их сумма — исчезнет и политика, как *спор, вражда*.

Конечно, останется «управление», останется «ход дел»,— но лишь в *эмпиризме своем*: «вот — факт», «потому что он — нужен»... Без всяких переходов в теорию и общую страсть.

«Нет-с, позвольте,— я *принципиально* этого не хочу»... Вот «принципиально»-то и будет вырвано из-под ног этих лошадей («политики»).— «Ты, пожалуйста, вези свой воз: а *принципы* — вовсе не дело вашего этажа». «О *принципах*» мы будем говорить с оракулами, первосяященниками, и у подножия той чудотворной иконы, которую взорвал ваш неумный Савва.

«*Принципы*»... о них будет решать «песенка Гретхен», «*принципы*» будут решать «гуляки праздные» («Моцарт и Сальери»).

Будут решать «мудрецы» (в «Республике» Платона).

Если «политика» и «политики» так страстно восстали против религии, поэзии, философии: то ведь давно надо было догадаться, что, значит, *душа* религии, поэзии и философии в равной степени враждебна политике и пылает против нее... Что же скрывать? Политики давно «оказывают покровительство» религии, позволяют поэтам петь себе «достойные стихосложения», «глядят по головке» философов, почти со словами — «ты существо, хотя и сумасшедшее, но мирное». Вековые отношения... У «политиков» лица толстые, лоснятся... (почти все члены Г. Думы — огромного роста: замечательно!! Лошадиная порода так и светит из существа дела, «призвания»...) Но не пора ли им сказать, что дух человеческий решительно не умещается в их кожу, что дух человеческий желает не таких больших ушей; что копыта — это мало, нужен и коготь, и крыло. «Мало, мало!» «Тесно, тесно!» Вот лозунг, вот будущее.

Но «переспорить» всех политиков решительно невозмож-но — такая порода.

Нужно со всеми ими — согласиться!

Тогда их упругие ноги (лошадиные) подкосятся; они упадут на колени, как скакун с невозможностью никуда бежать, с бес-цельностью бежать. «Ты меня победил и, так сказать, пробежал все пространства, не выходя из ворот». Тогда он упадет.



«Перемена, перемена»... «изменчивость, изменчивость» жа-луются.

Столпообразные руины...

— не замечая, что эта «изменчивость» входит в самый план ми-ра... В самом деле, «по эллипсисам», — все «сбивающимся в од-ну сторону» от прямой линии, все «уклоняющимся и уклоняю-щимся» от прежнего направления, — движутся все небесные све-тила. И на этом основано *равновесие* вселенной. Самые «лукавые линии» приводят к вечной *устойчивости*. Не наблюдали ли вы в порядке истории, что *начала* всех вещей хороши... Прекрасно «начинались» папы, когда в лагерь гуннов, к Атилле, они спешили, чтобы, поклонившись варвару, остановить поток пол-чищ перед ветхими, бессильными, но осмысленными старым смыслом городами Италии. Прекрасно волновалась реформа-ция... Революция в первых шагах — какой расцвет, рассвет... Да не хорошо ли начало всякой любви... И любви, и молитвы, и да-же войны. Эти легионы, текущие к границам отечества, чтобы его защитить, — как они трогательны...

Но представьте-ка войну «без конца», — влюбленность, за-тянувшуюся до 90 лет, папство без реформации, реформацию без отражения ее Тридентским собором...

И вот вещи «сгибаются на сторону» («эллипсис» вместо «прямой линии»), «лукавят», «дрожат»... Вещи — *стареют!!* Как это страшно! Как страшна старость! Как она и, однако, ра-достна, — ибо из «старости»-то все и юнеет, из «старости» воз-никает «юность» (*устойчивость* эллиптических линий)... Юная реформация — из постаревшего католицизма, юное христиан-ство — из постаревшего язычества, юная... новая жизнь, *vita nuova* — из беззубой политики... Так я думаю, так мне кажется. Тут (нападение на меня Струве, укоры и других) при-входит мой «цинизм», «бесстыдство». Однако оглянитесь-ка на прошлое и вдумайтесь в корень жизни. С великих измен начи-наются великие *возрождения*.

Тот насаждает истинно новый сад, кто предает, предательствует старый, осевший, увядший сад... Глядите, глядите на удивительные вещи истории: христиане-воины «бесстыдно изменяют твердыням Рима», бросая равнодушно на землю копье и щит,— Лютер «ничего не чувствует при имени Папы и нагло отказывается повиноваться ему»... Певец ведь вечно «изменяет политике». Люди прежнего одушевления теряются, прогнивают, упрекают в «аморализме», что есть в сущности «измена нашей традиции», «перерыв нашего столбового (наследственного) дворянства». Клянет язычник христианина, католик — лютеранина и, глубже и основнее всего — политик клянет поэта, философа, религиозного человека. Хватают «за полы» бесстыдных. Бессильно. Это Бог «переломил через колено» одну «прямую линию» истории, и, бросив концы ее в пространство — повелел двигаться совсем иначе небесному телу, земле, луне, человеческой истории. «Мы же в руках Божиих и делаем то, что Он вложил нам» ...и своею правдою, и своею неправдою, и своими качествами, и своими пороками даже, без коих «согнуться в складочку» не смог бы эллипсис, а ему это «нужно»... Великая во всем этом реальность: и «да будет благословенно имя Господне во век».

(размышая о полемике со Струве).



8-ми лет. Мамаша вошла в комнату.

— Где сахар?

На сахарнице было кусков пять. Одного недоставало.

Я молчал. Сахар съел я.

Она бурно схватила Сережу за белые волосы, больно-больно выдрала его. Сережка заплакал. Ему было лет 6. Я молчал.

Почему я молчал? Много лет (всю жизнь) я упрекал, как это было низко; и только теперь прихожу к убеждению, что низости не было. Ужасная низость, как бы клеветы на другого, получается в материи факта, и если глядеть со стороны. Но я промолчал от испуга перед гневом ее, бурностью, но не оттого, что будет больно, когда будет драть. Боль была пустяки. Она постоянно сердилась (сама была несчастна): а именно, как ветер сгибает лозину — гнев взрослого пригнул душонку 8-ми лет. У меня язык не шевелился.

\* К новому влечет душа (лат.).

Зато добрый поступок с Сережей. Мы бежали от грозы, а гроза как бы гналась за нами. Бывают такие внезапные, быстрые грозы. Сперва потемнело. Облако. Дом далеко, но мы думали, что успеем. Полянка с бугорками. Вдруг брызнул гром: и мы испуганно кинулись бежать.

Бежали, не останавливая шагу.

Еще бежали, бежали. Я ужасно боялся. «Ударит молния в спину». Сережа был сзади, шагах в четырех. Вдруг он стал замедлять бег.

Я оглянулся. И не сказал — «ну». Остановился. И чуть-чуть, почти идя, но «не выдавая друг друга молнии», пошли рядом.



Бодро, крепко:

— Ну, Варя. Сажусь писать.

— Бог благословит! Бог благословит!

И большим крестом клала три православных пальца на лоб, грудь и плечи.

И выходило лучше. Выходило весело (хорошо на душе).

(все годы).



Много лет спустя, я узнал ее обычай: встав на  $1\frac{1}{2}$  часа раньше меня утром, подходила к столу и прочитывала написанное за ночь. И если хорошо было (живо, правдиво, энергично,— в «ход мысли» и «доказательства» она не входила), то ничего не говорила. А если было вяло, устало, безжизненно,— она как-нибудь в день, между делом, замечала мне, что «не нравится» что я написал, иногда — «язык заплетается». И тогда я не продолжал. Но я думал, что она как-нибудь днем прочла, и не знал этого ее *обычая*,— и узнал уже во время последней болезни, года 3 назад.



В грусти человек — естественный христианин. В счастье человек — естественный язычник.

Две эти категории, кажется, известны и первоначальны. Они не принесены «к нам», они — «из нас». Они — *мы сами* в разных состояниях.

Левая рука выздоравливает и «просит древних богов». Правая — заболевает и ищет Христа.

Перед древними нам заплакать? «Позитивные боги», с шутками и вымыслами. Но вдруг «спина болит»: тут уж не до вымыслов, а «помоги! облегчи!». Вот Юпитеру никак не скажешь: «облегчи!» И когда по человечеству прошла великая тоска:— «Облегчи»,— явился Христос.

В «облегчи! избави! спаси!» — в муке человечества есть что-то более важное, черное, глубокое, м. б., и страшное, и зловещее, но, несомненно, и более глубокое, чем во всех радостях. Как ни велика загадка рождения, и вся сладость его, восторг: но когда я увидел бы человека в раке, и с другой стороны — «счастливую мать», кормящую ребенка, со всеми ее надеждами — я кинулся бы к больному. Нет, иначе: старец в раке, а хуже — старуха в раке, а по другую сторону — рождающая девица. И вдруг бы выбор: ей — *не родить*, а той — *выздороветь*, или этой родить, зато уж той — *умереть*: и всемирное человеческое чувство воскликнет: лучше погодить родить, лишь бы *выздоровела она*.

Вот победа христианства. Это победа именно над позитивизмом. Весь античный мир, при всей прелести, был все-таки позитивен. Но болезнь прорвала позитивизм, испорошила его: «Хочу *чуда*, Боже, дай *чуда!*» Этот прорыв и есть Христос.

Он плакал.

И только слезам Он открыт. Кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа. А кто плачет — увидит Его непременно.

Христос — это слезы человечества, развернувшиеся в поразительный рассказ, поразительное событие.

-

А кто разгадал тайну слез? Одни *при всяческих несчастиях* не плачут. Другие плачут и при не очень больших. Женская душа вся на слезах стоит. Женская душа — другая, чем мужская («мужланы»). Что же это такое, мир слез? Женский — отчасти, и — страдания, тоже отчасти. Да, это категория вечная. И христианство — вечно.

Христианство нежнее, тоньше, углубленнее язычества. Все «Авраамы» плодущие не стоят плачущей женщины. Вот граница чередующихся в рождениях Рахилей и Лий. Есть великолепие душевное, которое заливает все, будущее, «рождение», позитивное стояние мира. Есть то «прекрасное» души, перед чем мы останавливаемся и говорим: «Не надо больше, не надо лучше, ибо лучшее мы имеем и больше его не будет». Это конец и точка, самое рождение прекращается.

Я знал такие экстазы восхищения: как я мог забыть их.

Я был очень счастлив (20 лет): и невольно впал в язычество.

Присуще счастливому быть язычником, как солнцу — светить, растению — быть зеленым, как ребенку быть глупеньким, милым и ограниченным.

Но он вырастет. И я вырос.

Могу ли я вернуться к язычеству? Если бы совсем выздороветь, и *навсегда* — здоровым: мог бы. Не в этом ли родник, что мы умираем и болеем: т. е. не потому ли и для того ли, чтобы всем открылся Христос.

Чтобы человек не остался без Христа.

Ужасное сплетение понятий. Как мир запутан. Какой это неразглядимый колодезь.

(глубокой ночью).



Шуточки Тургенева над религией — как они жалки.



Чего я жадничаю, что «мало обо мне пишут». Это истинно хамское чувство. Много ли пишут о Перцове, о Философове. Как унизительно это сознание в себе хамства. Да... не отвязывайся от самого лакейского в себе. Лакей и гений. Всегдашия и, м. б., всеобщая человеческая судьба (кроме «друга», который «лакеем» никогда, ни на минуту не был, глубоко спокойный к любви и порицаниям. Так же и бабушка, ее мать).



Только такая любовь к человеку есть настоящая, не преуменьшенная против существа любви и ее задачи,— где любящий совершенно не отделяет себя в мысли и не разделяется как бы в самой крови и нервах от любимого.



Одна из удивительных мыслей Рцы. Я вошел к нему с Таней. Он вышел в туфлях и «бабьей кацавейке» в переднюю. Новая квартира. Оглядываюсь и здороваясь. Он и говорит:

— Как вы молоды! Вы помолодели, и лицо у вас лучше, чем прежде,— чем я его знал много лет.

Мне 57.

— Теперь вы в фокусе,— и это признак, что вам остается еще много жить.— Он что-то сделал пальцами вроде щелканья, но не щелканье (было бы грубо).

— Почему «фокус» лица, «фокус» жизни? — спросил я, что-то чувствуя, но еще не понимая.

Он любитель Рембрандта, а в свое время наслаждался Мазини, коего слушал и знал во все возрасты его жизни.

— Как же!.. Сколько есть «автопортретов» Рембрандта... сколько я видел карточек Мазини. И думал, перебирая, рассматривая: «нет, нет... это — еще не Мазини», или «это — уже не Мазини»... «Не тот, которого мы, замирая, слушали в Большом театре (Москва) и за которым бегала вся Европа»... И наконец, найдя *одну* (он назвал, какого года), говорил: «Вот!! — *Настоящего* Мазини существует только *одна* карточка,— хотя вообще-то их множество; и также *настоящего* Рембрандта — только *один* портрет. Тоже — Бисмарк: конечно, только в *один* момент, т. е. в *одну* эпоху жизни своей, из нескольких, Бисмарк имел свое *настоящее лицо*: это — лицо во власти, в могуществе, в торжестве; а — не там, где он старый, обессиленный кот, на все сердитый и ничего не могущий.

Я слушал и удивлялся.

Он говорил, и я догадывался о его мысли, что *биография* человека и *лицо* его,— его *физика* и вместе *дух*,— имеют *фокус*, до которого все идет, расширяясь и вырастая, а *после* которого все идет, умалаясь и умирая; и что этот фокус то приходится на молодые годы,— и тогда человек недолго проживет; то — лет на 40, и тогда он проживет нормально; то на позже — даже за 50: и тогда он проживет очень долго. *«Жизнь в горку и с горки»*. И естественно — в ней есть кульмиационный пункт. Но это — не «вообще», а имеет выражение себя в серии меняющихся лиц человека, из которых только об одном лице можно сказать, что *тут и в эти свои годы он... «достиг себя»*.

Как удивительно! Нигде ни читал, ни слышал. Конечно — это магия, магическое постижение вещей.

Тут домовой, тут леший бродит,  
Русалка на ветвях сидит.  
...И кот *ученый*  
Свои нам сказки говорит.

Седой, некрасивый и — увы! — с давно перейденным «фокусом», Рцы мне показался таким мудрым «котом».  
Вот за что я его люблю.

(*это было в 1911 или 1910 г.*).



Перестаешь верить действительности, читая Гоголя.  
Свет искусства, льющийся из него, заливает *все*. Теряешь  
осознание, зрение и веришь только ему.

(*за вечерним чаем*).



Щедрин около Гоголя как конюх около Александра Македонского.

Да Гоголь и есть Алекс. Мак. Так же велики и обширны завоевания. И «вновь открытые страны». Даже — «Индия» есть.

(*за вечерним чаем*).



Ни один политик и ни один политический писатель *в мире* не произвел в «политике» так много, как Гоголь.

(*за вечерним чаем*).



Катков произнес изволицье:  
— Тпру...

И линия журналов и газет ответила ему лошадиным ляганием.

И вот весь русский консерватизм и либерализм.

Неужели же Стасюлевич, читавший Гизо, не понимал, что нельзя быть образованным человеком, не зная, откуда происходит слово «география», т. е. что есть γη\* и γραφω\*\*. Но он 20 лет набрал воды в рот и не произнес: «Господа, все-таки ге-о-граф-ию-то нужно знать».

Но «обозреватели» в его журнале только пожимали плечами и писали: «Это — не ученье, а баллонпромышленничество» и «тут не учителя, а — чехи»: тогда как *вопрос шел вовсе не об этом*.

(в вагоне).



Кто не знал горя, не знает и религии.



Демократия имеет под собою одно *право...* хотя, правда, оно очень огромно... проистекающее из *голода...* О, это такое чудовищное право: из него проистекает убийство, грабеж, вопль к небу и ко всем концам земли. Оно может и *вправе* потрясти даже религиями. «Голодного» нельзя вообще судить; голодного нельзя осудить, когда он у вас отнял кошелек.

Вот «преисподний» фундамент революции.



Но ни революция, ни демократия, кроме этого, не имеют никаких прав. «Да, — ты *зарезал меня*, и, как голодного, я тебя не осуждаю». «Но ты еще говоришь что-то, ты хочешь души моей и рассуждаешь о высших точках зрения: в таком случае, я плюю кровью в бесстыжие глаза твои, ибо ты менее голодный, чем мошенник».



Едва демократия начинает морализовать и философствовать, как она обращается в мошенничество.

Тут-то и положен для нее исторический предел.

\* Земля (греч.).

\*\* Писать (греч.).

Высший предел демократии, в сущности, в «Книге Иова». Дальше этого она не может пойти, не пошла, не пойдет.

Но есть «Книга Товии сына Товитова». Есть Евангелие. Есть вообще, кроме черных туч, небо. И небо больше всякой тучи, которая «на нем» (часть) и «проходит» (время).

Хижина и богатый дом. В хижине томятся: и все то прекрасное, что сказано о вдове Сарепты Сидонской («испечем последний раз хлеб и умрем») — принадлежит этой хижине.

Но в богатом доме также все тихо. Затворяясь, хозяин пересматривает счетные книги и подводит месячный итог. Невеста — дочь, чистая и невинная, грезит о женихе. Малыши заснули в спальне. И заботливая мысль бабушки обнимает их всех, обдумывая завтрашний день.

Тут полная чаша. Это — Иов «до несчастия».

И хорошо там, но хорошо и тут. Там благочестие, но и тут не без молитвы.

Почему эти богатые люди хуже тех бедных?

Иное дело «звон бокалов»...

Но ведь и в бедной хижине может быть лязг оттачиваемого на человека ножа.

Но до порока — богатство и бедность равночастны.

Но после порока проклято богатство, но проклята также и бедность.

И собственно вместо социал-демократии лежит старая, простая, за обыденностью, пошлая истина, «ее же не прейдеши»:

Живи в богатстве так просто и целомудренно, заботливо и трудолюбиво, как бы ты был беден.



Бывало:

— Варя. Опять дырявые перчатки? Ведь я же купил тебе новые?

Молчит.

— Варя. Где перчатки?

— Я Шуре отдала.

Ей было 12 лет. Она же «дама» и «жена».

Так ходила она всегда «дамой в худых перчатках».

Теперь (2 года) все лежит, и руки сжаты в кулакок.



Забыть землю *великим забвением* — это хорошо.

(идя из Окруж. Суда.— об «Уед.»; затмение солнца).



Поразительное суждение я услышал от Флоренского (в 1911 г., зима, декабрь): «Ищут Христа *вне Церкви*», «хотят найти Христа *вне Церкви*», но мы не знаем Христа *вне Церкви*, *вне Церкви* — «нет Христа». «Церковь — она именно и дала человечеству Христа».

Он сказал это немного короче, но еще выразительнее. Смысл был почти тот, как бы Церковь родила нам Христа, и (тогда) как же сметь, любя Христа, ополчаться на Церковь?

Смысл был этот, но у него — лучше.

Это меня поразило новизною. Теперь очень распространена риторика о Христе без Церкви,— и сюда упирается все новое либеральное христианство.

Действительно. По мелочам познается и крупное. «Лучшую книгу — переплетаем в лучший переплёт»: сколько же Церковь должна была почувствовать в Евангелии, чтобы переплести его в  $\frac{1}{2}$  пудовые, кованые из серебра и золота, переплеты. Это — пустяки: но оно показует важное. Все «сектанты» читают Евангелие, только раз в неделю соберясь: это — в миг их прозелитизма, взрывчатого начала. А «Церковь», через 1800 лет после начала, не понимает «отслужить службы», днем ли, ночью ли, каждый день — не почитав Евангелия.

Она написала его огромными буквами. Переплет она усыпала драгоценными камнями.

Действительно: именно, Церковь пронесла Христа от края и до края земли, пронесла «как Бога», без колебания, даже до истребления спорящих, сомневающихся, колеблющихся.

Таким образом, энтузиазм Церкви ко Христу б. так велик, как «не хватит порохов» у всех сектантов вместе и, конечно, у всех «либеральных христиан» тоже вместе. Действительно, Церковь может сказать: «Евангелие было бы как «Энеида» Виргилия у читателей,— книга чтимая, но не действенная,— и, м. б., просто оно затерялось бы и исчезло. Ведь не читал же всю жизнь Тургенев Евангелия. Он не читал,— могло бы и поколение не читать,— и, наконец, пришло бы поколение, совсем его забывшее, и уже следующее за ним — просто потерявшее самую книгу. Я спасла Евангелие для человечества: как же теперь, вырывая его из моих рук, вы смеете говорить о Христе помимо и обходя Церковь. Я дала человечеству: ну, а нужно ли Евангелие больным, убогим, страждущим, томящимся, нужно ли оно сегодня, будет ли нужно завтра — об этом уже не вам решать».

Поразительно. Так обыкновенно и совершенно ново. И, конечно, одним этим сохранением для человечества Евангелия Церковь выше не то что «наших времен», но и выше всего золотого века Возрождения, спасшего человечеству Виргилия и Гомера.



Есть люди до того робкие, что не смеют сойти со стула, на котором сел.

Таков Михайловский

*(размышляя об удивительном заглавии статьи его — полемика со Слонимским — «Страшен сон (!!!), да милостив Бог»).*

Михайловский был робкий человек. Это никому не приходило на ум. Таково и личное впечатление (читал лекцию о Щедрине,— торопливо, и все оглядывался, точно его кто хватает).



Правительству нужно бы утилизировать благородные чувства печати, и всякий раз, когда нужно провести что-нибудь в покое и сосредоточенности (только проводит ли оно что-нибудь «сосредоточенно»?) — поднимать дело о «проводившемся тайном советнике №», — или о том, что он «содержит актрису». Печать будет  $\frac{1}{2}$  года травить его, визжать, стонать. Яблоновский «запишет», Баян «посыплет главу пеплом», «Русское Слово» будет занимать 100 000 подписчиков новыми столбцами à la «Гурко-Лидваль», «Гурко-Лидваль»...

И когда все кончится и нужное дело будет проведено, «пострадавшему (фактивно) тайному советнику» давать «еще орден через два» («приял раны ради отечества») и объявлять, что «правительство ошиблось в излишней подозрительности».

Без этого отвлечения в сторону правительству нельзя ничего делать. Разве можно делать дело среди шума?



Поэт Майков (Ап. Н.) смиренно ездил в конке.  
Я спросил Страхова.

— О, да! Конечно — в конке. Он же беден.

Был «тайный советник» (кажется), и большая должность в цензуре.



Это бедные студенты воображают (или, вернее, их науськал Некрасов), что тайные советники и вообще, «черт их дери, все генералы» едят все «Вальтассаровы пиры» (читал в каком-то левом стихотворении: «Они едят Вальтассаровы пиры, когда народа пухнет с голода»).



В газетах, журналах интересны не «передовики» и фельетонисты. Эти, как *personae certae*\* и индейские петухи с дру-

\* Известные лица (лат.).

гой стороны — никакого не интересны. Но я люблю в газете зайти, где собирается «пожарная команда», т. е. сидят что-то делающие в夜里. Согнувшись, как Архимед над циркулем, одни сидят «в шашки». Другие шепчутся, как заговорщики, о лошадях (скакчи, играют). Тут услышишь последнюю сплетню, с ног сшибательную сенсацию. Вдруг говор, шум, поток: ругают Шварца. Папиросы и «крепкое слово».



Ге о Евг. П. Иванове: «Вот кто естественный профессор университета: сколько новых мыслей, какие неожиданные, поразительные замечания, наблюдения, размышления».

Делянов сказал, когда у него спросили, отчего Соловьев (Влад.) не профессор:

— У него мысли.

Старик, сам полный мыслей и остроумия, не находил, чтобы они были нужны на кафедре. Но еще удивительнее, что самоподполняющаяся коллегия профессоров тоже делает все усилия, чтобы к ним в среду не попал человек с мыслью, с творчеством, с воображением, с догадкой.

Ни Иванов, ни Шперк не могли даже кончить русского университета.

Профессор должен быть балаболка. Это его стиль. И дождутся, когда в обществе начнут говорить:

— Быть умным — это «не идет» профессору. Он будет черным вороном среди распустивших хвост павлинов.



Что-то было глухое, слепое, что даже без имени...  
и все чувствовали — нет дела. И некуда приложить силу, добро, порыв.

Теперь все только ждет работы и приложения силы.

Вот «мы» до 1905-6 года и после него. Что-то прорвало и какой-то застой грязи, сырости, болезни безвозвратно унесло потоком.

(после разговора с Ге).



Все мы выражаем в сочинениях субъективную уверенность. Но — обобщая и повелительно. Что же делать, если Дарвин «субъективно чувствовал» происхождение свое от шимпанзе: он так и писал.

Во Франкфурте-на-Майне я впервые увидел в зоол. саду шимпанзе. Действительно, удивительно. Она помогала своему сторожу «собирать» и «убирать» стол (завтрак), сметала крошки, стлала скатерть. Совсем человек!

Я безмолвно дивился.

Дарвину даже есть честь происходить от такой умной обезьяны. Он мог бы произойти и от более мелкой, от более *позитивной* породы.

(рано утром).



Не надо забывать, что Фонвизин бывал «при дворе», — *видел лично императрицу*, — и «просветителей» около нее, — может быть, лично с *нею разговаривал*. Это чрезвычайная высокопоставленность. Он был тем, что теперь Арс. Арк. Кутузов или гр. А. К. Толстой. Изобразительный талант (гений?) его несомненен: но *высокое положение* не толкнуло ли его посмотреть слишком *свысока* на окружающую его поместье дворянскую мелкоту, дворянскую обывательщину, и даже губернскую вообще жизнь, быт и нравы. Поэтому яркость его «Недоросля» и «Бригадира», говоря о живописи автора, не является ли пристрастною и неверною в *тоне*, в *освещении*, в *понимании*?

«Недоросли» глубокой провинциальной России несли ранец в итальянском походе Суворова, с ним усмиряли Польшу; а «бригадиры» командовали в этих войсках. Каковы они были?

Верить ли Суворову или Фонвизину?



Прогресс технически необходим, для души он вовсе не необходим.

Нужно «усовершенствованное ружье», рантовые сапоги, печи, чтобы не дымили.

Но душа в нем не растет. И душа скорее даже малится в нем.

Это тот «печной горшок», без которого неудобно жить и ради которого мы так часто малим и даже вовсе разрушаем душу.



И борьба между «прогрессистами» и людьми «домашнего строя» очень часто есть борьба за душу или за «обед с каперцами», в котором «каперцы», конечно, побеждают.

(умываясь утром).



Не всякую мысль можно записать, а только если она музыкальна.

И «У.» никто не повторит.



В каждом органе ощущения, кроме его «я знаю» (вижу, слышу, обоняю, осознаю), есть еще — «я хочу». Органы суть не только органы чувств, но еще и — желания, жажды аппетитов. В каждом органе есть жадность к миру, алчание мира; органами не связывается только с миром человек, но органами он *входит* (врезается) в мир, *уродняется* ему. Органами он «съедает мир», как через органы — «мир съедает человека». Съедает — ибо *властно входит в него...*

Человек *входит* в мир.

Но и мир *входит* в человека.

Эти «двери» — зрение, вкус, обоняние, осознание, слух.

(на обороте транспаранта).



Легко Ш. Х. разыскивать преступников, когда они говорят, когда он подслушивает — то самое, что ему нужно. Так-то и я бы изловил.

(Шерлок Холмс — один случай).

А когда осматривают труп, то, непременно, в пальцах «зажат волос убийцы».



<...>



Мы прощались с Рцы. В прихожей стояла его семья. Тесно. Он и говорит:

— Все по чину.

— Что? — спрашиваю я.

— Когда Муравьев («Путешествие по св. местам») умирал, то его соборовали. Он лежал, закрыв глаза. Когда сказали «аминь» (последнее), он открыл глаза и проговорил священнику и сослужителям его:

« — Благодарю. Все по чину». Т. е. все было прочитано и спето без пропусков и малейшего отступления от формы.

Закрыл глаза и помер.

У Рцы была та ирония, что каким образом этот столь верующий человек имел столь слабое и, до известной степени, легкомысленное отношение к смерти, что перед лицом ее, перед Сею Великою Минуюю, ни о чем не подумал и не вспомнил, кроме как о «наряде церковном» на главу свою. Сия смерть подобна была смерти Вольтера.



Смысл *Литературного Фонда* понятен: «фракция Чернышевского», «особый фонд Добролюбова». Все это понятно каждому, кроме «сфер». Однако из «сфер» они тоже получают тысячи. Что же это такое?

«Я тебе готовлю нож под 4-ое ребро. А предварительно дай все-таки гриненичек на чаек». Это Федька каторжник из «Бесов». Вот что на *это* ответил бы Пешехонов. Отчего об *этом* не напишет «обличительной статьи» Короленко. Нет, господа, о связи себя с идеализмом — оставьте.

(вагон).



Кто не любит человека в радости его — не любит и ни в чем.



Вот с этой мыслью как справится аскетизм.

Кто не любит радости человека — не любит и самого человека.



Все критики, признавая ум (уж скорее «гений», т. е. что-то «невообразимое»; а «ума» — ясного, комбинирующего, считающего — не очень много), или не упоминают, или отрицают — *сердце*: но тогда как же произошел «Семейный вопрос в России» и «Сумерки просвещения», два великих отмщения за женщин и за гимназистов.

Еще поразительнее и говорит о благородстве литературы, что о «Семейном вопросе» не было ни одной рецензии, кроме

от Разинькова, Василия Лазаревича,— о которой я его упросил. Все писали о «Трейхмюллере», а на *Семейный вопрос в России* — ни один литератор не оглянулся.



Видали ли вы вождя команчей в пустыне? Я тоже не видал, но читал у Майн-Рида: на диком мустанге, нагой и бронзовый, мчится он,— в ноздрях у него вдеты перья, на голове павлиний хвост, татуировка осыпается с него, как штукатурка...

Но не бойтесь, сограждане, и не очень пугайтесь даже гимназисты: это мчится вовсе не Тугой Лук, а только очень похожий на него профессор канонического права, напр. Заозерский: «правила» всевозможных греческих соборов осыпаются с него, как старая штукатурка, но он полон воинственного жара и, поводя головою, дает видеть торчащие у него из носа «добавочные постановления (novellae) императора Алексея Комнина»... Вот он, весь полный запрещений и угроз, натиска и бури... не замечает вовсе Владимира Карловича, а также и Розанова, подсказывающего тому бросить под ноги мустанга решение Апостола:

«*А если через исполнение закона (и, след., каких бы то правила) люди оправдываются перед Богом, — то вообще Христу тогда незачем было умирать».*

А Он умер — и оправдал нас.

(к вопросу о диакониссах. 24 марта 1912 г.).



...не верьте, девушки, навеваниям вокруг вас, говорам, жестам, маскам, шумам, мифам...

Верьте, что *что есть — то есть, что будет — будет, что было — было*.

Верьте истории.

Верьте, что историю нельзя закрыть двумя ладонями, сложить ли их «в гробик», «в крестик» или «в умоление».

Будьте неумолимы.



Да, хорошо, я понимаю, что

Вставай, подымайся, рабочий народ...

Но отчего же у вашей супруги каракулевое пальто не в 500—600 р., как обыкновенно\*, а в 750 р., и «сама подбирала шкурки».

(из жизни).



С прессой надо справиться именно так: «возите на своих спинах». Тогда «для всех направлений не обидно», и мере увидели бы не политической, а культурной.

Мысль эта занимает меня с 1893 г., когда Берг вычеркнул большое примечание (в страницу) об этом, и я никогда от нее не отказывался. Это — спасение души. Когда-нибудь раздастся это как крик истории.

Пресса толчет души. Как душа будет жить, когда ее постоянно что-то раздробляет со стороны.



Если бы «плотина закрыла реченку» — как вдруг поднялись бы воды. Образовалась бы гладь тихих вод.

И звезды, и небо заиграли бы в них.

Вся та энергиишка, которую — тоже издробленную уже — суют авторы в газеты, в ненужные передовицы, в увядшие фельетоны, в шуточку, гримаску, «да хронику-то не забудь», у кого раздавило собаку (уже Алькивиад, отрубивший хвост у дорогой собаки, был первым газетчиком, пустившим «бум» в Афинах)...

Все эти люди, такие несчастные сейчас, вернулись бы к покоя, счастью и достоинству.

\* Было в год 1904—1905 г.

Число книг сразу удесятерилось бы...  
Все отрасли знания возросли бы...  
Стали бы лучше писать. Появился бы стиль.  
Число научных экспедиций, вообще духовной энергии, уде-  
сятерилось бы. И словари. И энциклопедии. И великолепная  
библиография, «бабушка литературы».

Буди! Буди!



А читателю — какой выигрыш: с утра он принимается за дело, свежий, не раздраженный, не опечаленный.

Как теперь он уныло берется за дело, отдав утреннюю свежую душу на запыление, на загрязнение, на измучивание («чтение газет за чаем»), утомив глаза, внимание.



Да: все теперь мы принимаемся без внимания за дело. Одно это не подобно ли алкоголизму?

Печатная водка. Проклятая водка. Пришло сто гадов и нагадили у меня в мозгу.



«Такой книге нельзя быть» (Гип. об «Уед.»). С одной стороны, это — так, и это я чувствовал, отдавая в набор. «Точно усиливаясь проглотить и не могу» (ощущение отдачи в набор). Но с другой стороны, столь же истинно, что этой книге непременно надо быть, и у меня даже мелькала мысль, что, собствен-

но, все книги — и должны быть такие, т. е. «не причесываясь» и «не надевая кальсон». В сущности, «в кальсонах» (аллегорически) все люди не интересны.



Да, вот когда минует трехсотлетняя давность, тогда какой-нибудь «профессор Преображенский» в Самаркандской Духовной Академии напишет «О некоторых мыслях Розанова касательно Ветхого Завета».

—  
Отчего это окостенение?



Все богословские рассуждения напоминают мне «De civitate veterum Tarentinorum»\*, которую я купил студентом у букиниста.



По-видимому (в историю? в планету?), влит определенный % пошлости, который не подлежит умалению. Ну,— пройдет демократическая пошлость и настанет аристократическая. О, как она ужасна, еще ужаснее!! И пройдет позитивная пошлость, и настанет христианская. О, как она чудовищна!!! Эти хроменькие-то, это убогонькие-то, с глазами гиен... О! О! О! О!.. «Похристиански» заплачут. Ой! Ой! Ой! Ой!..

(на ходу).

---

\* «О древней культуре тарентийцев» (лат.).



Далеко-далеко мерцает определение: — Да, он, конечно, не мог бы быть Дегаевым; но «пути его были неведомы» — и Судейкиным он очень мог бы быть...

По крайней мере никто в литературе не представляется таким «естественным Судейкиным», с страшным честолюбием, каждой охвата власти, блестящим талантом и «большим служебным положением».

(Н. Михайловский).



«Встань, спящий»... Я бы взял другое заглавие: «Пробудись, бессовестный».

(заглавие журнала 1905  
Ионы Брихинчева).



— Байрон был свободен,— неужели же не буду свободен я?! — кричит Арцыбашев.

— Ибо ведь я печатаюсь теми же свинцовыми буквами! Да, в свинцовых буквах все и дело. Отвоевали свободу не душе, не уму, но свинцу.

Но ведь, господа, может прийти Некто, кто скажет:

— Свинцовые пули. И даже с Гуттенберговой литерой N(apoleon)... — как видел я это огромное N на французских пушках вокруг арсенала в Москве.

(июнь).



До тех пор, пока вы не подчинитесь школе и покорно дадите ей переделать себя в не годного никуда человека, до тех пор вас никуда не пустят, никуда не примут, не дадут никакого места и не допустят ни до какой работы.

(история русских училищ).



Нет хорошего лица, если в нем в то же время нет «чего-то некрасивого». Таков удел земли, в противоположность небесному — что «мы все с чем-то неприятным». Там — веснушка, там — прыщик, тут — подпухла сальная железка. Совершенство — на небесах и в мраморе. В небесах оно безукоризненно, п. ч. *правдиво*, а в мраморе уже возбуждает сомнение, и мне, по крайней мере, не нравится. Обращаясь «сюда», замечу, что хотя заглавия, восстановленные мною «из прежнего» — хуже (некрасивее) тех, какие придал (в своих изданиях) П. П. Перцов некоторым моим статьям, но они *натуралистичны в отношении того настроения духа*, с каким писались в то время. Эти *запутанные заглавия*, — плетько, — выразили то «заплетенное», смутное, колеблющееся, и вместе порывистое и торопливое состояние ума и души, с каким я вторично выступил в литературу в 1889 году, — после неудачи с книгою «О понимании» (1886 г.). Вообще заглавия — всегда органическая часть статьи. Это — тема, которую себе написывает автор, садясь за статью; и если читателью кажется, что это заглавие неудачно или неточно, то опять характерно, как он эту тему теряет в течение статьи. Все это — несовершенства, но которые не должны исчезнуть.

(обдумываю Перцовские издания своих статей; и что ему может показаться печальным, что при втором издании я восстановил свои менее изящные, «долговязые» заглавия. Они характерны и нужны).



У нас Polizien-Revolution\*; куда же тут присосались студенты.

А так бедные бегают и бегают. Как тараканки в горячем горшке.

\* Полицейская революция (нем.).



Этот поп на пропаганде христианских рабочих людей зарабатывал по несколько десятков тысяч рублей в год. И квартира его — всегда целый этаж (для бессемейной семьи, без домочадцев) — стоила 2—3 тысячи в год. Она вся была уставлена тропическими растениями, а стены завешаны дорогими коврами. Везде, на столах, на стенах, «собственный портрет», — en face, в  $\frac{3}{4}$ , в профиль... с лицом «вдохновенным» и глазами, устремленными «вперед» и «ввысь»... Совсем «как Он» («Учитель» мой и наш)... Сам он, впрочем, ходил в бедной рясе, суровым, большим шагом, и не флиртировал. За это он мне показался чуть не «Jean Chrisostome», как его вывел Алексей Толстой

К земным утехам нет участья,  
И взор в грядущее глядит...

Можно же быть такой телятиной, чтобы «Повесть о Капитане Копейкине» счесть за «Историю Наполеона Бонапарте».  
*(из жизни).*



<...>



Когда Надежда Романовна уже умирала, то все просила мужа не ставить ей другого памятника, кроме деревянного креста. Непременно — только дерево и только крест. Это — христианка.

Не только — «почти ничего» (дерево, ценность), но и — временное (сгниет).

И потом — ничего. Ужасное молчание. Небытие. В этом и выражается христианское — «я и никогда не жила для земли».

Христианское сердце и выражается в этом. «Я не только не хочу работать для земли, но и не хочу, чтобы земля меня помнила». Ужасно... Но и что-то величественное и могущественное.

Надежда Романовна вся была прекрасна. Вполне прекрасна. В ней было что-то трансцендентное.



— Может быть, мы сядем в трамвай: он, кажется, сейчас трогается...

— Ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха!  
— Он и довезет нас до Знаменской...  
— Ха! ха!

(опыты).



<...>



«Разврат» есть слово, которому нет соответствующего предмета. Им обозначена груда явлений, которых человечество не могло понять. В дурной час ему приснился дурной сон, будто все эти явления,— на самом деле подобные грибам, водорослям и корням в природе,— суть «дурные», уже как «скрываемые» (мысль младенца Соловьева в «Оправдании добра»); и оно занесло их сюда, без дальних счетов и всякого разумения.

(Эйдкунен — Берлин, вагон).



Раза три в жизни я наблюдал (издали, не вблизи) или слышал рассказ о материах, сводничающих своих замужних дочерей. Точно они бросают стадо к... на нее как с... Никогда не «прилаживают к одному», не стараются устроить «уют», хотя бы на почве измены.

Вся картина какого-то «поля» и «рысканья». Удивительно. Еще поразительнее, что таких жен, *все зная о них*, глубоко любят их мужья. Плачут и любят. Любят до обожания. А жены, как и тещи, питают почти отвращение к несчастному мужу. Тут еще большая метафизика. Между прочим, такова была знаменитая Фаустина senior, жена Антонина Благочестивого. Она сходилась даже с простолюдинами. А муж, когда она умерла, воздал ей божеские почести (*divinatio*) и воздвиг ее имени, чести и благочестию — храм.

На монетах лицо ее — властительное, гордое. На темени она несет маленькую жемчужную корону (клубочком). По-видимому, хороша собой, во всяком случае «видная». Лицо Антонина Пия — нежное, «задумчивое», отчетливо женственное.

Он — родоначальник добродетелей и философии.

Я знал двух славянофилов, испытавших эту судьбу. Комично, что один из них водил своего старшего сына (конечно, не от себя) смотреть памятник Минина и Пожарского, и все объяснял ему «русскую историю».

(на представлении переводной пьесы на эту тему; пер. Е. А. Егорова).



Все это тянется как резинка и никакого индивидуального интереса. Только наблюдаешь общие законы (проститутки).

— Мы — мостовая. Каких же надписей ты на нас ищешь? ?

(о проституции; еду в Киев. † Столыпина).



Несмотря на важность проституции, однако в каком-то отношении, мне не ясном,— они суть действительно «погибшие создания», как бы погаснувшие души. И суть действительно — «небытие»; «не существуют», а только кажется, что они — «есть».

(вагон) (еду в Киев).



О девстве глубокое слово я слышал от А. С. Суворина и от А. В. Карташова.

Первый как-то сказал:

— Нет, я замечал, что когда девушка теряет девство (без замужества), то она теряет и все. Она делается *дурною*.

Конечно, он не малейше не имел в виду обычных нравственных суждений, и передал наблюдение «что бывает», «что случается», «что  *дальше* следует».

Карташов сказал, когда — в их же присутствии — я сказал о двух барышнях типа вечных девственниц (*virgo aeterna*):

— Ведь они никогда не выйдут замуж: непонятно, почему они или почему вообще *такие* не бросят свое девство, кому попало, и, вообще все равно, кто возьмет?

У меня было философское об этом недоумение.

Он ответил:

— Они (он как бы запнулся, придумывая формулу) — *питаются от своего девства*. Да, оно не нарушено и, кажется, не нарушится. Но сказать, чтобы оно было им и не нужно — нельзя: оно им не только нужно, но и необходимо. Они *живут им, и именно — его целостью*. Это — богатство, которое не тратится, но которое их *обеспечивает*. Обеспечивает что? Их душу, их талант (они были талантливы), их покой и свежесть.

— Есть девство — и они трудятся, выставляют работы (художницы), дружатся, знакомятся, читают, размышляют.

— *Не будет* девства — и все разрушится. Так что хотя они и призваны к девству и никакой мужчина им не воспользуется, но это не обозначает, что *их девственность есть ничтo, — есть не существующая для мира вещь*. Для «мира»-то оно не существует, хотя как их талант — и для мира существует; но как телесная нетронутость и целость — оно существует *и для них самих*.

Замечательно глубоко. Несколько месяцев перед этим я спросил одну из этих девушек, что бы она сделала с мужчиной, если бы он «с голоду» взял у нее то, что у нее лишнее (как мне казалось):

— Упекла бы в Сибирь,— ответила она твердо и по-мужски.

— И не пощадили бы?

— Не пощадила бы.

— Но ведь вам не нужно? (aeterna virgo).

Она промолчала.

Рассуждение Карташова, так сказать, наполняет речами ее молчание. Она не успела только формулировать; но поступила бы по чувству («засужу»), которое неодолимо и в котором правда.

Вот источник по-видимому непонятно жестоких наказаний, присуждаемых насилователям.

«Кроме замужества — совокупление есть гибель. Обществу оно безвредно: но оно губит субъекта, лицо».

Тогда конечно — казнь! Как за убийство или ближайшее к убийству!!! Кроме особенных случаев, о которых длинна речь: но как раз именно в нашей цивилизации и приходится принимать во внимание эти «кроме»...



Кроме случая aeternae virginis, который чрезвычайно редок и сам себя отстаивает, во имя чего мы могли бы потребовать у девушки и всех вообще девушек сохранения их девства?

«Мы» здесь — государство, религия, нравственность, старая семья (родители, братья, «Валентин» (Фауст).

Девушка всегда может ответить, или, при молчании,— она будет полна речей:

— Мотивируйте мне мое девство: и я его сохраню.

Но единственного мотива нет: — замужества.

Нет замужества, рассыпается и девство!

Девство только и сохраняется для мужа; каждая девушка обязана его хранить — если непременно каждой девушке замужество обеспечено. Чем? кем? Status quo\* общества, законом, религией, родителями. «Мне до этого дела нет, я в это не вмешиваюсь; я не законодательница», — может ответить девушка, — «мне подай мужа. Вот это — я знаю, и — только это».

Девство есть вещь, когда есть (будет) муж.

А когда муж «будет или нет», «выйдет или нет», «чет-нечет» и «сколько лепестков у сирени»: то и девство тоже «вый-

\* Существующий порядок вещей (лат.).

дет» или «нет», при «чет» — выйдет, а если «нечет» — то и не «выйдет»; и девушка просто выйдет за калитку и бросит его на ветер: ибо «на ветер» бросила целая цивилизация ее замужество.

Тут смычок и струна: струна поет ту арию, которую ведет смычок. Смычок — замужество, активная сторона, «хозяин всего дела». И если «хозяин» пьян или дурак: то пусть уж и не слезает с полатей, если у него «из-под полы» все девушки разбегутся.

Девство в наше время потенциально свободно; и оно не сегодня-завтра станет реально свободно. Девушки вырвутся и убегут. Убегут неодолимо, с этими криками дочерей Лота: «Никого нет, кто вошел бы к нам по закону всей земли: напоим отца нашего, и зачнем от него детей, — я, потом — ты».

Это сказала старшая и благоразумнейшая младшей, которой осталось только послушаться. От дев произошли два народа — *моавитяне* и *аммалекитяне*. Почему сразу случилось? Бог не хотел, с одной стороны, чтобы это повторялось: а решительные девушки повторили бы поступок свой, если бы остались пустыми, без зарождения. С другой стороны, однако, сохранив потомство их в веки и веки, до размножения в целый народ,— что далеко не с каждой беременной девушкой случается,— Бог тех библейских времен, и не знавший иной награды угодному Ему человеку, как *умножение его потомства*, тем самым явно показал, что таковое твердое, как у дочерей Лота, размножение, уверенное в себе размножение — гордое и смелое, не ползучее, а как бы «верхом на коне, в латах и шлеме» — Ему приятно. Да, и в самом деле, только оно обеспечивает расцвет земли и исполнение воли Божией.

(выпустил из коррект. «Уедин.»).



... \*дорого назначаете цену книгам\*. Но это преднамеренно: книга — не дешевка, не разврат, не пойло, которое заманивает «опустившегося человека». Не дева из цирка, которая соблазняет дешевизною.

Книгу нужно уважать: и первый этого знак — готовность дорого заплатить.

Затем, сказать ли: мои книги — лекарство, а лекарство вообще стоит дороже водки. И приготовление — сложнее, и вещества (душа, мозг) положены более ценные.

(в лесу на прогулке).



Ученых надо драть за уши... И мудрые из них это одобрят, а прочие если и рассердятся, то на это нечего обращать внимания.

(на прогулке в лесу).



Удивительна все-таки непроницательность нашей критики... Я добр или по крайней мере совершенно незлобен. Даже лица, причинившие мне неисчерпаемое страдание и унижение,— Афонька и Тертий,— не возбуждают во мне собственно злобы, а только смешное и «не желаю смотреть». Но никогда не «играла мысль» о их страдании. Струве — ну, да, я хотел бы поколотить его, но добродушно, в спину. Господи, если бы мне «ударить» его, я расплакался бы и сказал: «ударь меня вдвое». Таким образом, никогда месть мне не приходила на ум. Она приходила разве в отношении учреждений, государственности, церкви. Но это — не лица, не душа.

Таким образом, самая суть моя есть доброта,— самая обыкновенная, без «эquivоков». Ничье страданье мне не рисовалось как мое наслаждение,— и в этом все дело, в этом суть «демонизма». Которого я совершенно лишен,— до непредставления его и у кого-нибудь. Мне кажется, что это все выдумано, преимущественно дворянами, как Байрон,— и от молодости. «Были сказки о домовых», а потом выдумали занимательнее — демон».

Печальный и пр. и пр.

Между тем все статьи обо мне начинаются определениями: «демонизм в Р.». И ищут, ищут. Я читаю: просто — ничего не понимаю. «Это — не я». Впечатление до такой степени чужое, что даже странно, что пестрит моя фамилия. Пишут о

«корове», и что она «прыгает», даже потихоньку «танцует», а главное — у нее «клыки» и «по ночам глаза светят зеленым блеском». Это ужасно странно и нелепо, и такое нелепое я выношу изо всего, что обо мне писали Мережковский, Волжский, Закржевский, Куклярский (только у Чуковского строк 8 индивидуально-верных,— о давлении крови, о температуре, о множестве сердец). С Ницше... никакого сходства! С Леонтьевым — никакого же личного (сход.). Я только люблю его. Но сходство и «люблю» — разное.

Я самый обыкновенный человек; позвольте полный титул: «коллежский советник Василий Васильевич Розанов, пишущий сочинения».

Теперь, эти «сочинения»... Да, мне многое пришло на ум, чего раньше никому не приходило, в том числе и Ницше, и Леонтьеву. По сложности и количеству мыслей (точек зрения, узора мысленной ткани) я считаю себя *первым*. Мне иногда кажется, что я понял *всю историю* так, как бы «держу ее в руке», как бы историю я сам *создорил*, — с таким же чувством уроднения и полного постижения. Но сюда я выведен был своим «положением» («друг» и история с ним), да и пришли лишь именно *мысли*, а это — не *я сам*. Я — добрый и малый (*ragus*): а если «мысли» действительно великие, то разве мальчик не «открывает солнца», и «звезд», всю «поднебесную», и что «яблоко падает» (открытие Ньютона), и даже труднейшее и глубочайшее — первую молитву. Вот я такой «мальчик с неутертым носом», — «все открывший». Это — мое *положение*, но не — я. От этого я считаю себя, что «в Боге»... У меня есть серьезная уверенность: — Бог для того-то и подвел меня (точно взяв за руку) встретиться с другом, чтобы я безмерно наивным и добрым взглядом *увидел* «море зла и гибели», вообще — *сокрытое от премудрых земли*, о чем не догадывались никогда деревянные попы, да и «святые» их категории, — не догадывался никто, считая все за «эмпирию», «случай» и «бывающее», тогда как это суть, душа и от *самого источника*. Слушайте, люди: что для нас самое убедительное? Нечто, что мы сами увидели, узнали, ущупали, унюхали. Ну, словом: *знаю* — и баста. Так для жулика — самое ясное, что он может отпереть всякий замок отверткою; для финансиста — что не ошибется в бирже; для Маркса — что рабочим нужно дать могущество; и прочее. Всякий человек живет немногими знаниями, которые суть плод его жизни, именно *его*; опыта, страдания, нюха и

зрения. Для меня (ведь *внутренность* же свою я знаю) было ясно в Е~~льце~~, 1886—1891 гг., что я — погибал, что я — не нужен, что я, наконец, — озлоблен (вот тогда «демонизм» был), что я весь гибну, может быть, в разврате, в картах, вернее же в какой-то жалкой уездной пыли, написав лишь свое «О понимании», над которым все смеялись...

Тогда я жил оставленный, брошенный — *без моей вины*. Обошел человек и сделал вред.

Вдруг я встречаю, при умирании третьего (товарищ), слезы... Я удивился... «Что такое слезы?» «Я никогда не плачу». «Не понимаю, не чувствую».

Я весь задеревенел в своей злобе и оставленности и мелких «картишках».

Плач,— у гроба *третьего*,— был для меня что яблоко для Ньютона. «Так вот, можно жалеть, плакать»... Удивленный, пораженный (Ньютонов момент), я стал вникать, вслушиваться, смотреть.

Тá же судьба, тá же оставленность. Но реагирующая на зло плачет в себе, без осуждения, без недоумения, без всякой злобы, без догадки, что есть в мире злоба, вот «демонизм», вот «бесовщина».

Я подал руку,— долго не принимаемую, по неуверенности. Ведь я ходил в резиновых глубоких галошах в июне месяце, и вообще был «чучело». Да и «невозможно» было (администрация и проч.). Но колебания быстро прошли: случилось (от нервности) несчастие (оказавшееся через несколько месяцев мнимым),— которое, так сказать, «резиновые калоши» простирали до преисподней и делало меня «совершенно невозможным». Но слезы по «третьем» решили все: именно когда казалось все «разрушенным и погившим», и до скончания веков, когда *подойти ко мне* значило *погибнуть самому* (особенная личная тайна), и я обо всем этом честно рассказал,— рука протянулась со словами «колебания кончились». Дальше, большие, годы, вдруг бороды лопатой говорят:

— Стоп!

Не обращаю внимания, но за ними и высокопросвещенные люди, как С. А. Рачинский, говорят:

— Нельзя.

«Что такое?!» Будь я «в панталонах мальчик», я ничего особенного бы не понял, не постигнул. Нужно было бесконечно наивной природе (я) столкнуться с фактом, чтобы понять... что «ведь это *искусственное дело* падать *вниз* яблоку, оборвавшемуся от ветки: *натурально* оно должно бы остаться в воздухе, а уж если лететь, то почему же не вверх, а *вниз*: значит —

*земля притягивает*. Я понял (и первый я), что не в «лопатах» дело, которым «все равно», и не в Рачинском, который благочестив, ко мне добр, а в другом, от чего Рачинский не хотел отстать, а «лопаты» приставлены «к этому забору». Кому-то далекому-далекому, чему-то великому-великому нужно...

— Чего нужно?

«— Играйте вы по-прежнему в преферанс,— ну и погибнете, но мало ли же вообще людей гибнет. И этот «друг» ваш (с скрытною уже тогда болезнью)... тоже погибнет... Но ведь что же?.. Ведь это вообще есть, бывает; — бывает смерть, и болезнь, и разврат, и пустота жизни или лица.. Ну, и что же особенного тут, чему же волноваться...»

— Да нет, не в этом дело, а что я был злобен, остервенен, забыл Бога, людей мне было не нужно. ...А теперь я совсем ваш же, с образами, лампадкой, христианством, Христом, с церковью.. Я — ваш.

«— Именно — не «наш», и такого нам вовсе не нужно, поскольку вы вдвоем, соединены. И будете «наши» — лишь разъединяясь».

— «Разъединяясь»?.. Значит — опять в злобу, в атеизм, вред людям...

«— Это уже наше дело, мы все берем на себя. О злобе вашей помолимся, и атеизм — замолим, и вообще все обойдется, потихоньку и не колко. Ну, кто не вредит людям, и разве все так особенно «веруют». А обходится. Будет сохранен порядок: а если вы погибнете в разделении, то ведь людей вообще всяких и постоянно очень много гибнет. Ничего нового и даже, извините, ничего интересного».

Конечно, при «упрямстве» можно было бы «преломить», и вышла бы грубость, но никакого открытия. Но я был именно кроток,— как и наивность или «натуральность» (дикий человек) простиралась до того, что я годы ничего не замечал... Как годы же потом шло мое «Ньютоновское открытие», что «яблоко очень просто падает на землю» от того-то.

Раз я стоял во Введенской церкви с Таней, которой было три года.

Службы не было, а церковь никогда не запиралась. Это — в Петербурге, на Петербургской стороне. Особенно — тихо, особенно — один. В церковь я любил заходить все с этой Таней, которая была худенькая и необыкновенно грациозна, мы же боялись у нее менингита, как у первого ребенка, и почти не считали, что «выживет». И вот, тихо-тихо... Все прекрасно... Когда вдруг в эту тишину и мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал:

*«...вы здесь — чужие. Зачем вы сюда пришли? К кому? Вас никто не ждал. И не думайте, что вы сделали что-то «так» и «чтó следует», прия «вдвоем» как «отец и дочка». Вы — «смутяны», от вас «смута» именно оттого, что вы «отец и дочка» и вот так распоясались и „смело вдвоем“».*

И вдруг образа как будто стали темнеть и сморчились, сморчились нанесенною им обидою... Зажались от нас... Ушли в свое «правильное», когда мы были «неправильные». Ушли, отчуждились... и как будто указали или сказали: *«Здесь — не ваше место, а — других и настоящих, вы же подите в другое место, а где его адрес — нам все равно».*

Но, повторяю, жулик знает, чем «отвертывать замки», а «кто молится» и счастлив — тоже знает, что он — *молится именно и — именно счастлив; что у него «хорошо на душе»; и вообще что в это время, вот, может быть, на одну эту минуту в жизни, — он сам хорош.*

Опять настаиваю, что дело в кротости, что я был именно и всегда кроткий, тихий, послушный, миролюбивый человек. «Как все».

Когда я услышал этот голос, может быть и свой собственный, но *впервые эту мысль сказавший*, без предварений и подготовки, как «внезапное», «вдруг», «откуда-то» — то я вышел из церкви, вдруг заливвшись сиянием и гордостью и *как победитель*. Победитель того, чего никто не побеждал, — даже того, кого никто не побеждал.

— Пойдем, Таня, отсюда...

— Пора домой?

— Да... домой пора.

И вышли. Тут все дело в «отмычке», которая *отпирает* и — *«в кротости, которую я знал».*

Я как бы вынес кротость с собою, и мою «к Богу молитву» — с собою же, и Таню — с собою: и что-то (земля и небо) так повернулись около меня, что я почувствовал:

« — Кротость-то у меня, а у вас — стены. И у меня — молитва, а у вас опять же — стены. И Бог со мною. И религия во мне. И в судьбе. Вся судьба и «свела» для этого мгновения. Чтобы тайное и существовавшее всегда наконец-то сделалось явным, осознательным, очевидным, обоняемым».

...«Вы именно жестоки и горды (*«отмычка у меня»*)... Именно — холодны... Бога в вас нет, и у вас нет, ничего нет, кроме слов... обещаний, надежд, пустоты и звона. Все вы и вся *полнота ваших средств и орудий*, ваших богатств и библиотек, учености и мудрости, и самых, как вы говорите, *«благодатных таинств»*, не могут сотворить капельку добра, живого, наличного, реаль-

ного, если оно *ново в веках*, не по шаблону и прежде бывавшим примерам: и тут не то, чтобы вы «не можете», — все вы, бороды лопатою, или добры сами по себе, или вам «все равно», а что-то вас задерживает, и *новое зло* вы легко сотворяете, вот как приходскому духовенству в Петербурге обобрать не приходское, да и вообще много *нового злого*: а вот на «доброе», тоже новое, — связаны ваши руки какою-то страшною, вам самим неведомою силою, которая так же «далека», «неосозаема» и «повсеместна»... как Ньютоново тяготение. Которое я открыл и с него начинается новая эра миропостижения, все — новое, хоть начинай считать «первый год», «второй год». Это, должно быть, было в 1896 или 1897 году.



«Неужели же так и кончится его деятельная жизнь, посвященная всецело на благо человечества?»

«Ему не хотелось верить, что Провидение уготовило ему столь ужасный конец».

«Он вспомнил о Гарри Тэксоне, вспомнил много случаев, когда он освобождал от ужасной смерти этого многообещающего дорогого ему юношу...»

(«Графиня-Преступница»).

Так предсмертно рассуждал Шерлок Холмс, вися в коптильне под потолком, среди окороков (*туда его поднял на блоке, предварительно оглушив ударом резины*, — разбойник), и ожидая близкой минуты, когда будет впущен дым и он прокопится наравне с этими окороками.

Мне кажется, Шерл. Хол. — то же, что «Страшные приключения Амадиса Гальского», которыми зачитывался, по свидетельству Сервантеса, герой Ламанчский — и которыми без сомнения потихоньку наслаждался и сам Сервантес. Дело в том, что неизвестный составитель книжек о Холмсе (в 48 стр. 7 к. книжка), — вероятно, исключенный за неуспешность и шалости гимназист V — VI-го класса, — найдя такое успешное приложение своих сил, серьезно раскаялся в своих гимназических пороках и написал книжки свои везде с этим пафосом к добродетели и истинным отвращением к преступлению. Книжки его везде нравственны, не циничны, и решительно добропорядочнее множества якобы «литературно-политических» газет и беллетристики.

Есть страшно интересные и милые подробности. В одной книжке идет речь о «первом в Италии воре». Автор принес, очевидно, рукопись издателю: но издатель, найдя, что «король воров» не заманчиво и не интересно для сбыта, зачеркнул это заглавие и надписал свое (издательское): «Королева воров». Я читаю-читаю, и жду, когда же выступит королева воров? Оказывается, во всей книжке — ее нет: рассказывается только о джентльмене-воре.

Есть еще трогательные места, показывающие дух книжек:

• На мгновение забыл все на свете Шерлок Холмс, в виду такого опасного положения своего возлюбленного ученика. Он поднял Гарри и понес его на террасу, но окно, ведущее в комнаты, оказалось уже запертым.

— А кто этот раненый молодой человек?

— Это честный добрый молодой человек, на вас не похожий, милорд\*.  
(«Только одна капля чернил»).

Еще, в конце:

• — И вы действительно счастливы и довольны своим призванием?

— Так счастлив, так доволен, как только может быть человек. *Раскрыть истину, охранять закон и права* — великое дело, великое призвание.

— Пью за ваше здоровье... Вы — утешитель несчастных, заступник обиженных, страх и гроза преступников\*.

(«Одна капля чернил», конец).

Читая, я всматривался мысленно в отношения Шерлока и Гарри,— с точки зрения «людей лунного света»: нельзя не заметить, что, как их представил автор, они — не замечая того сами — оба влюблены один в другого: Гарри в Холмса — как в старшего по летам своего мужа, благоговея к его уму, энергии, опыта, зрелости. Он везде бежит около Холмса, как около могучего быка — молодая телушечка, с абсолютным доверием, с абсолютной влюбленностью. Холмс же смотрит на него как

на возлюбленного сына,— с оттенком, когда «сын-юноша» очень похож на девушку. Обоих их нельзя представить себе женатыми: и Гарри в сущности — урнинг, и Холмс — вполне урнинг:

*К земным утехам нет участия,  
И взор в грядущее глядит.*

Удовольствие, вкусная еда, роскошь в одежде — им чужда. Незаметно, они суть «монахи хорошего поведения», и имеют один пафос — истребить с лица земли преступников. Это — Тезей, «очищающий дорогу между Аргосом и Афинами от разбойников» и освобождающий человечество от страха злодеев и преступлений. Замечательно, что проступки, с которыми борются Шерлок и Гарри — исключительно отвратительны. Это не проступки нужды или положения, а проступки действительного злодейства в душе, совершаемые виконтами, лордами-наследниками, учеными медиками, богачами или извращенными женщинами. Везде лежит вкус к злодейству, с которым борется *вкус к добродетели* юноши и мужа, рыцаря и оружносца. Когда я начал «от скуки» читать их, — я был решительно взволнован. И впервые вырисовался в моем уме человеческое

CRIMEN\*

**Оно — есть, есть, есть!!!..**

Есть как особое и самостоятельное начало мира, как первая буква особого алфавита, на котором не написаны «наши книги»; а его, этого преступного мира, книги все написаны «вовсе не на нашем языке».

И, помню, я ходил и все думал:

crimen! crimen!

«Никогда на ум не приходило»...

И мне представился суд впервые, как что-то необходимое и важное. Раньше я думал, что это «рядятся» люди в цепи и прочее, и делают какие-то пустяки, не похожие на дела других людей, и что все это интересно наблюдать единственно в смысле профессий человеческих.

Het.

Вижу, что — нужно.

Дело.

\* Преступление, грех (лат.).



Только у человека: цветет, а завязаться плоду не дают.

(«сформировывается» девушка в 13—14 лет,  
а «супружество» отложено до 20-ти лет и  
далее).



...да Элевзинские таинства совершаются и теперь. Только когда их совершают люди, они уже не знают теперь, что это — таинства.



...да ведь совершенно же ясно, что социал-демократия никому решительно не нужна, кроме Департамента государственной Полиции.

Без нее — у Департамента работы нет, как нет удочки и лова без «наживки». Социал-демократия, как доктрина, — есть «наживка» на крючке. И Департамент ловит «живность» этой приманкой.



С этой точки зрения,— а в верности ее нельзя сомневаться,— «Отечественные Записки», «Русское Богатство», «Дело», Михайловский, Щедрин — были в «неводе» правительства и служили наиболее ядовитому его департаменту. Все совершилось «обходом» и Щедрин-Михайловский соработали III-му отделению.

Но вышло «уж чересчур». Неосторожно «наживку» до того развели, что она прорвала сеть и грозит съесть самого рыбака. «Вся Россия — социал-демократична».

Понятно, для чего существует «Русское Богатство». Какой же томящийся питомец учительской семинарии, как и сельский учитель «с светлой головой», не напишет «письмо-души-Тряпичкина» нашему славному Пешехонову или самому великому Короленке. И чем ловить там по губерниям, следить там по губерниям, — легче «прочитать на свет» письма, приходящие к 3-4-10 «левым сотрудникам известного журнала». «Весь улов» и очутится «тут».

Понятно. Математика. Но «переборщили», не заметив, что вся Россия поглупела, опошлела, когда  $\frac{1}{2}$  века III-ье отделение «оказывало могущественное покровительство» всем этим дурачкам, служившим ему при блаженной уверенности, что они служат солидарной с ними общечеловеческой социал-демократии.

Департамент сделал революцию бессильной. Но он сам обессилел, революционизировав всю Россию.

Каша и русская «неразбериха». Где «тонко» — там и «рвется».

Но вот объяснение, почему славянофильские журналы один за другим запрещались; запрещались журналы Достоевского. И только какая-то «невидимая могущественная рука» охраняла целый ряд антиправительственных социал-демократических журналов. Почему Благосветлов с «Делом» не был гоним, а Аксаков с «Парусом» и «Днем» — гоним был.

Пожалуй, и я попал: Куприн, описывая «вовсю» публ. д.— «прошел», а Розанов, заплакавший от страха могилы («Уед.»), — был обвинен в порнографии.



— Пора, сказала мамаша.

И мы вышли в городской сад. На мне был черный сюртук и летнее пальто. Она в белом платье, и сверху что-то. В начале

июня. Экзамены кончились, и на душе никакой заботы. Будущее светло.

Солнце было жаркое. Мы прогуливались по главной аллее, и уже сделали два тура, когда в «боковушке» Ивана Павловича отворилось окно, и, почти закрывая «зычной фигурой» все окно, он показался в нем. Он смеялся и кивнул.

Через минуту он был с нами. Весь огромный, веселый.

— И венцы, Иван Павлович?

— Конечно!

Мы сделали тур.— «Ну, пойдемте же». И за ним мы вошли во двор. Он подошел к сторожке.— «Такой-то такой-то (имя и отчество), дайте-ка ключи от церкви».

Старичок подал огромный ключ, как «от крепости» (видел в соборах, «ключ от крепости такой-то, взятой русскими войсками»).

— Пойдемте, я вам все покажу.

Растворилась со звуком тяжелая дверь. Я «что-то стоял»... И, затворив дверь, он звучно ее запер. «Крепко». Лицо в улыбке, боязни — хоть бы тень. Повернулись оба к лестнице:

Стоит моя Варя на коленях... Как войти по лесенке,— ступеней 6,— то сейчас на стене образ; увидав его,— «как осененная» Варя бросилась на колени, и что-то горячо, пламенно шептала.

Я «ничего». Тоже перекрестился.

Вошли.



<...>



...окурочки-то все-таки вытряхиваю. Не всегда, но если с  $\frac{1}{2}$  папиросы не докурено. Даже и меньше. «Надо утилизировать» (вторично употребить остатки табаку).

А вырабатываю 12 000 в год, и, конечно, не нуждаюсь в этом. Отчего?

Старая неопрятность рук (детство)... и даже, пожалуй, по сладкой памяти ребяческих лет.

Отчего я так люблю свое детство? Свое измученное и опозоренное детство.

(перебрав в пепельнице окурки и вытряхнув из них табак в свежий табак) (на письме Ольги Ивановны).



Симпатичный шалопай — да это почти господствующий тип у русских.



Я чувствую, что *метафизически* не связан с детьми, а только с «другом».

Разве с Таней...

И следовательно, связь через рождение еще не вхлестывает в себя метафизику.

С детьми нет какой-то «связующей тайны». Я им нужен — но это эмпирия. На них (часто) любуюсь — и это тоже эмпирия. Нет загадки и нет боли, которые есть между мною и другом. Она-то одна и образует метафизическую связь.

Если она умрет — моя душа умрет. Все будет только волочиться. Пожалуй, писать буду (для денег, «ежедневное содержание»), но это все равно: *меня* не будет.

«Букет» исчезнет из вина и останется одна вода. Вот «моя Варя».



Мамочка никогда не умела отличить *клубов* пара от дыма, и войдя в горячее отделение бани, где я поддал себе на полок, вскрикивала со страхом: «Какой угар!..» Также она не умела отпереть никакого замка, если отпирание не заключалось в простом поворачивании ключа *вправо*. Когда я ей объяснил, что нужно же писать «мн<sup>ѣ</sup>» и вообще в дательном падеже — *ѣ*, то она, не пытаясь вникнуть и разобраться, вообще везде предпочла писать *ѣ*. Когда я ей объяснил, что лучше везде

писать *e*, то она уже не стала переучиваться, и удержала старую привычку (т. е. везде *Ё*).

Вообще она не могла вникнуть ни в какие хитрости и ни в какие глупости (мелочи): слушая их ухом, она не прилежала к ним умом.

Но она высмотрела детям все лучшие школы в Петербурге. Пошла к Штембергу (для Васи). Директор ей понравился. Но выйдя на двор, во время распуска учеников, она стала за ними наблюдать: и, придя, изложила мне, что «все хорошо, и директор, и порядок», но как-то «вульгарен будет состав товарищей». Пошла в школу Тенишевой,— и сказала твердо — «туда». Девочкам выбрала гимназию Стоюниной, а нервной, падающей на бок Тане, как и неукротимой Варваре, выбрала школу Левицкой. И, действительно, для оттенков детей подошли именно эти оттенки школ; она их не угадала, а твердо уверила.

Вообще твердость суждения и поступка — в ней постоянны. Никакой каши и мямленья, нерешительности и колебания. И никогда «сразу», «с азарту», «вдруг». Самое колебание всегда продолжалось 2—3 дня, и она ужасно в них работала умом и всей натурой.

А замка не умела отпереть: ибо это и действительно ведь глупость. Ибо замки ведь вообще должны запирать, и — только, т. е. все «направо»; а что сверх сего — «от лукавого». И она «от лукавого» не понимала.

Однажды мне кой-что грозило, и я между речей сказал ей, что куплю револьвер. Вдруг к вечеру с пылающим лицом она входит в мою квартиру, в доме Рогачевой. И едва поцеловав, заговорила:

— Я сказала Тихону (брат, юрист)... Он сказал, что это *Сибирем пахнет*.

— Сибирью...

— Сибирем,— она поправила,— равнодушная к форме и выговаривая, как восприняло ухо. Она была занята мыслью о ссылке, а не грамматикой.

Крепко схватив, я ее осыпал поцелуями. И до сих пор эта тревога за любимого человека у меня неразъединима с «Сибирем пахнет».

Она вся пылала, торопилась и запрещала (т. е. покупать револьвер). Да я и стрелять не умел.

Она вышла из 3-го класса гимназии. Именно,— она все пачкала (замуслякивала) чернилами парту, заметим, что Иван Павлович (Леонов), говоря ученицам объяснения, опирается пальцами на стол (он был огромного роста и толстый). Тот все

пачкался. Пожаловался. И поставили в поведении «4». Мамаша (Ал. Адр. Руднева), вообразив, что «4 в поведении девушке» — манает ее и намекает на «VII заповедь», оскорбилась и сказала:

Не ходи больные. Я возьму тебя из гимназии. Они не смеют порочить девушку».



Хорошее — и у чужого хорошо. Худое — и у своего ребенка худо.

Встала в 11-м часу. Отдых, 3 раза будили.

(начало вакации у учащихся детей)  
(сержусь).



У Кости Кудрявцева директор (Садоков) спросил на переэкзаменовке:

Скажите, что вы знаете о *кум*?

Костя был толстомордый (особая лепка лица), волосы ежом, взгляд дерзкий и наглый.

А душа нежная.

Улыбнулся и отвечает:

— Ничего не знаю.

— Садитесь. Довольно.

И поставил ему единицу.

Костя мне с отчаянием говорил (я ждал у дверей):

Подлец он этакий: скажи он мне *квум* — и я бы ответил. О *квум* три страницы у Кремера (грамматика). Он, черт этакий, выговорил — *кум!* (есть право и так выговаривать, но им не пользуются). Я подумал: «*кум!* — предлог *с*»; чтó же об нем отвечать, кроме того, что — «*с творительным*»? ...но это — до того «само собою разумеется», что я счел позорным отвечать для пятого класса.

И исключили. В тот час у него умер и отец. Он поступил на службу (чтобы поддерживать мать с детьми), — сперва в полицейское управление, — и писал мне отчаянные письма («Вася, думали ли мы, что придется служить в проклятой полиции»), потом — на почту, и «теперь работаю в сортировочной» (сортировка писем по городам).

В то же время где-нибудь аккуратный и хорошеный мальчик «Сережа Муромцев» учился отлично, директор его гладил по голове, кончил с медалью, в университете — тоже с медалью, наконец — профессор «с небольшой оппозицией»... И, оправдывая некрасовское

..До хорошего местечка  
Доползешь ужом,—

вышел в председатели 1-й Госуд. Думы. И произнес знаменитое mot\* «Государственная Дума не может ошибаться». Неужели мой Костя мог бы так провалиться на государственном экзамене??!!

Да, он *кум* не знал: но он был ловок, силен, умен, тактичен «во всяких делах мира». А как греб на лодке! а как — потихоньку — пил пиво и играл на биллиарде! И читал запоем.

Где этот милый товарищ?! <...>



Русское хвастовство, прикинувшееся добродетелью, и русская лень, собравшаяся «перевернуть мир»... — вот революция.  
(за занятиями).



Отвращение, отвращение от людей... от самого *состава человека*... Боже! с какой бесконечной любви к нему я начинал (гимназия, университет).

•  
—  
Отчего это? Неужели это *правда*.

---

\* Слово (*франц.*).



Торчит пень. А была такая чудная латания. 13 рублей.



Так и мы...



И вся история — голое поле с торчащими пнями.

(купил за 13 с кадкой и жестяным листом на Сенной; оценивали гости в 30 р.; два года прожила; утешала глаз; на 3-й стала чахнуть, и в сентябре, у швейцара на «прилавочке» — огромная кадка и странный пень в ней).



Вполне ли искренне («Уед.»), что я так не желаю славы? Иногда сомневаюсь. Но когда думаю о боли людей — вполне искренне.

«Слава» и «знаменитость» какое-то бламанже на жизнь; когда сыт всем — «давай и этого». Но едва занозил палец, как кричишь: «Никакой славы не хочу». Во всяком случае, это-то уже справедливо, что к славе могут стремиться только пустые люди. И итог: *насколько* я желаю славы — я *ничто*. И, конечно, человечество может поступить тут «в пику». Т. е. плевать «во все лопатки».



«Анунциата была высока ростом и бела, как мрамор» (Гоголь) — такие слова мог сказать только человек, не взглянувший ни на какую женщину, хоть «с каким-нибудь интересом».

Интересна половая загадка Гоголя. Ни в каком случае она не заключалась в он....., как все предполагают (разговоры). Но в чем? Он, бесспорно, «не знал женщины», т. е. у него не было физиологического аппетита к ней. Что же было? Поразительна ярость кисти везде, где он говорит о покойниках. «Красавица (колдунья) в гробу» — как сейчас видишь. «Мертвцы, поднимающиеся из могил», которых видят Бурульбаш с Катериною, проезжая на лодке мимо кладбища,— поразительны. Тоже — *утопленница* Ганна. Везде покойник у него живет удвоенною жизнью, покойник — нигде не «мертв», тогда как живые люди удивительно мертвы. Это — куклы, схемы, аллегории пороков. Напротив, покойники — и Ганна, и колдунья — прекрасны и индивидуально интересны. Это «уж не Собакевич-с». Я и думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут, в «прекрасном упокойном мире», — по слову Евангелия: «Где будет сокровище ваше — там и душа ваша». Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал, точно мужчины не умирают. Но они, конечно, умирают, а только Гоголь нисколько ими не интересовался. Он вывел целый пансион покойниц,— и не старух (ни одной), а все молоденьких и хорошенъких. Бурульбаш сказал бы: «Виши, турецкая душа, чего захотел». И перекрестился бы.

Кстати, я как-то не умею представить себе, чтобы Гоголь «перекрестился». Путешествовал в Палестину — да, был ханжою — да. Но перекреститься не мог. И просто смешно бы вышло. «Гоголь крестится» точно медведь в менете.

Животных тоже он нигде не описывает, кроме быков, разбодавших поляков (под Дубно). Имя собаки, я не знаю, попадается ли у него. Замечательно, что нравственный идеал — Улецька — похожа на покойницу. Бледна, прозрачна, почти не говорит, и только плачет. «Точно ее вытащили из воды», а она взяла да (для удовольствия Гоголя) и ожила, но самая жизнь проявилась в прелести капающих слез, напоминающих, как каплет вода с утопленницы, вытащенной и поставленной на ноги.

Бездонная глубина и загадка.

(когда болел живот. В саду).



Боже Вечный, стой около меня.  
Никогда от меня не отходи.

(часто) (чтобы не грешить).



Какого бы влияния я хотел писательством?  
Унежить душу.

— А «убеждения».  
Ровно наплевать.



Благородный ли я писатель?

Конечно, я не написал бы ни одной статьи (для денег — да), т. е. не написал бы «от души», если бы не был в этом уверен.

А ложь? Разврат (\*поощряю\*)? Нередкая злоба (больше притворная)?

Как сочетать? согласить? примирить?

Не знаю. Только этот напор в душе убеждения, что *у меня* это — благородно.

Почему же? Какие аргументы? — «на суде ничего не принимается без доказательств»?

Да,— а что такое неблагородное?

«Подделывался».

Но ни к кому не подделывался.

«Льстил».

Но никому не льстил.

«Писал против своего убеждения».

Никогда.

Если я писал с «хочется» (мнимый «разврат»), то ведь что же мне делать, если мне «хотелось»?

Не потаските же вы корову на виселицу за то, что ей «хотелось».

И если «лгал» (хотя определенно не помню), то просто в то время не хотел говорить правду, ну — «не хочу и не хочу».

Это — дурно.

Не очень и даже совсем не дурно. «Не хочу говорить правды». Что вы за дураки, что не умеете отличить правды от лжи; почему я для вас должен трудиться?

Да и то определенной лжи я совсем не помню.

Правда, я писал однодневно «черные» статьи с эс-эрными. И в обеих был убежден. Разве нет  $\frac{1}{100}$  истины в революции? И  $\frac{1}{100}$  истины в черносотенстве?

Но зачем в «правом» издании и в «левом»?

По убеждению, что правительство *и подумать не смеет* поступать по «правым» ли, по «левым» ли листкам. Мой лозунг: «если бы я был Кое-кто, то приказал бы обо всем, не исключая «Правительственного Вестника»:

— В мой дом этих прокламаций не вносите.

Я бы уравнял «Русское Знамя» и какую-нибудь «Полярную Звезду».

— Этих прокламаций *мне* не надо.

Как сметь управлять «по 100 газетам», когда *не подали голоса* 100 000 000 людей (мужики, вообще *не «имущие»*)? не подали бабы? чистые сердцем гимназисты?

Подали, извольте, «люди с пером».

Я бы им такое «чиханье» устроил, что не раскушались бы.

Правительство должно быть абсолютно свободно. И, особенно — от гнета печати. Разумеется, в то же время оно должно быть чрезвычайно строго к себе.

Но — по своему убеждению и своим принципам.

А то:

— Баян говорит.

— Григорий Спиридоныч желает.

— Амфитеатров из-под Везувия фыркает.

Скажите, пожалуйста, какая «важность»? Как же им не фыркать, не желать и не говорить, когда есть чернильницы и их научили грамоте.

Не более я думал и о себе.

— Все это ерунда.

Это скромность. Именно, что я писал «во всех направлениях» (постоянно искренне, т. е. об  $\frac{1}{1000}$  истины в каждом мнении мысли) — было в высшей степени прекрасно, как простое обозначение глубочайшего моего убеждения, что все это «вздор» и «никому не нужно»: правительству же (в душе моей) строжайше запрещено это слушать.

И еще одна хитрость или дальновидность — и м. б. это лучше всего объяснит, что я сам считаю в себе притворством. Передам это шутя, как иногда люблю шутить в себе. Эта шутка, *действительно*, мелькала у меня в уме:

— Какое сходство между «Henri IV» и «Розановым»?

— Полное.

*Henri IV* в один день служил лютеранскую и католическую обедню, и за обеими крестился и наклонял голову. Но Шлоссер, но Чернышевский, не говоря о Добчинском-Бокле, все «химики и еествоиспытатели», все великие умы новой истории — согласно и без противоречий — дали хвалу *Henri IV* за то, что он принес в жертву *устарелый* религиозный интерес новому *государственному* интересу, тем самым, по Дрэперу, «перейдя из века Чувства в век Разума». Ну, хорошо. Так все хвалили?

Вот и поклонитесь все «Розанову» за то, что он, так сказать, «расквасив» яйца разных курочек,— гусиное, утиное, воробьевиное — кадетское, черносотенное, революционное,— выпустил их «на одну сковородку», чтобы нельзя было больше разобрать «правого» и «левого», «черного» и «белого» — на том фоне, который по существу своему ложен и противен... И сделал это с восклицанием:

— Со мною Бог.

Никому бы это не удалось. Или удалось бы притворно и *неудачно*. «Удача» моя заключается в том, что я в самом деле не умею здесь различать «черного» и «белого», но не по глупости или наивности, а что там, «где ангелы реют», — в самом деле, не видно, «что Гималаи, что Уральский хребет», где «Каспийское» и «Черное море»...

Даль. Бесконечная даль. Я же и сказал, что «весь ушел в мечту». Пусть это — мечта, т. е. призрак, «нет». Мне все равно. Я — *вижу* партии и *не вижу* их. Знаю, что — и *ложны* они и что — истинны. «Прокламации».

«Век Разума» (мещанская добродетель) опять переходит в героический и святой «Век Порыва»: и как там на сгибе мелкий бес подсунул с насмешкой «Henri IV», который цинично, ради короны *себе*, на «золотую свою головку» — надсмеялся над верами, где страдали суровый Лютер и великий Григорий I

(папа), — так послал Бог в этот другой сгил человека, сердце которого так во всем перегорело, ум так истончился («О понимании») в анализе, что для него «все политические истины перемешались, и переплелись в ткань, о которой он вполне знает, что она провиденциально должна быть сожжена».



У нас нет совсем мечты своей родины.

И на голом месте выросла космополитическая мечтательность.

У греков есть она. Была у римлян. У евреев есть.

У француза — «chère France», у англичан — «старая Англия». У немцев — «наш старый Фриц».

Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия».

Как же удивляться, что всякий русский с 16-ти лет пристает к партии «ниспровержения государственного строя».

Щедрин смеялся над этим. «Девочка 16-ти лет задумала сокрушение государственного строя. Хи-хи-хи! Го-го-го!»

Но ведь Перовская почти 16-ти лет командовала 1-м марта. Да и сатирик отлично все это знал. — «Почитав у вас об отечестве, десятилетний полезет на стену».

У нас слово «отечество» узнается одновременно со словом «проклятие».

Посмотрите названия журналов: «Тарантул», «Оса». Целое издательство — «Скорпион». Еще какое-то среднеазиатское насекомое (был журнал). «Шиповник».

И все «жалят» Россию. «Как бы и куда ей запустить яда». Дивиться ли, что она взбесилась.

И вот простая «История русского нигилизма».

Жалит ее немец. Жалит ее еврей. Жалит армянин, литовец. Разворачивая челюсти, лезет с насмешкой хохол.

И в середине всех, распоясавшись, «сам русский» ступил сапожищем на лицо бабушки-Родины.

(за шашками с детьми).



Я учился в Костромской гимназии, и в 1-м классе мы учили: «Я человек, хотя и маленький, но у меня 32 зуба и 24 ребра». Потом — позвонки.

Только доучившись до VI класса, я бы узнал, что «был Сусанин», какие-то стихи о котором мы (дома и на улице) распевали еще до поступления в гимназию:

...не видно ни зги!  
...вскричали враги.

И сердце замирало от восторга о Сусанине, умирающем среди поляков.

Но до VI-го класса (т. е. в Костроме) я не доучился. И очень многие гимназисты до IV-го класса не доходят: все они знают, что у человека «32 позвонка», и не знают, как Сусанин спас царскую семью.

Потом Симбирская гимназия (II и III классы) — и я не знал ничего о Симбирске, о Волге (только учили — «3 600 верст», да и это в IV классе). Не знал, куда и как протекает прелестная местная речка, любимица горожан — Свияга.

Потом Нижегородская гимназия. Там мне ставили двойки по латыни, и я увлекался Боклем! Даже странно было бы сравнивать «Минина и Пожарского» с Боклем: Бокль был подобен «по гордости и славе» с Вавилоном, а те, свои князья, — скучные мещане «нашего закоулка».

Я до тошноты ненавидел «Минина и Пожарского», — и, собственно, за то, что они не написали никакой великой книги вроде «Истории цивилизации в Англии».

Потом университет. «У них была реформация, а у нас нечесаный поп Аввакум». Там — римляне, у русских же — Чичиковы.

Как не взять бомбу; как не примкнуть к партии «ниспроповедания существующего строя».

В основе просто:

Участь в Симбирске — ничего о Свияге, о городе, о родных

(тамошних) поэтах — Аксаковых, Карамзине, Языкове; о Чолге — там уже прекрасной и великой.

Учась в Костроме — не знал, что это имя — еще имя языческой богини; ничего — о Ипатьевском монастыре. О чудотворном образе (местной) Феодоровской Божией Матери — ничего.

Учась в Нижнем — ничего о «Новгороде низовые земли», о «Макарии, откуда ярмарка», об Унже (река) и ее староверах.

С 10-ти лет, как какое-то Небо и Вера и Религия:

«Я человек, хотя и маленький, но у меня 24 ребра и 32 зуба», или наоборот, черт бы их брал, черт бы их драл.

Да, еще: учили, что та кость, которая *есть* берцовая, и называется берцовою.



Представьте, как если бы годовалому ребенку вместо материнской груди давали, «для скорейшего ознакомления с географией» — кокосового молока, а девочке десяти лет надевали бы французские фижмы, тоже для ознакомления с французской промышленностью и художеством. «Моим детям нет еще одиннадцати лет, но они уже знают историю и географию».

И в 15 лет эти дети — мертвые старики.



...пока еще «цветочки»: погодите, русская литературуочка лет через 75 принесет и ягоды.



Уже теперь Фаресов, «беллетрист-народник», предложил поскорее, для утешения в горести, «принять в хорошую христианскую семью» немецкую бонну, которая, читая со свечой роман ночью, зажгла пожар, и когда горела 9-летняя Тамарочка Ауэр, то она вытаскивала свои платья и оставила без помощи горевшую Тамарочку. Фаресов, биограф Лескова, написал (в «Петербургской Газете»):

«Это она, бедная, растерялась. Ее скорее надо утешить».

Я бы ему предложил пожертвовать от себя этой гувернантке 25 р. Даю честное слово, что не дал бы.

О гувернантке же двоюродная тетя Тамарочки (Васина учительница) рассказывала, что она уже поступила на место и что получила страховую премию за белье свое, которое якобы сгорело, а оно, на самом деле, было в стирке и, конечно, было благополучно ей возвращено, а она показала его сгоревшим.

Да: но она 1) немка, 2) труженица, 3) интеллигентка. А что такое Тамарочка? Она только кричала, увидев пылающую комнату: «Бедный папочка! — все сгорит, и когда он вернется (из-за границы), он ничего не найдет».

Он не нашел дочери. Вечная память. Еще: она нередко у этой бонны целовала руку, как дитя неразумеющее, и ее от этого отучали. Она была страшно нежна к окружающим.

Сгорела она в мае. Мать ее умерла в декабре той же зимы, т. е. месяцев за 5—6. Молодой вдовец быстро вновь женился.



<...>



Когда рвалось железо и люди при Цусиме, литературочка вся хихикала, и профессора хихикали:

— Дан ранг капитана — определить высоту мачты (у К. Тимирязева — против Данилевского).

Можно бы профессорам и ответить на это:

— Принесли и положили на стол диссертацию профессора: определить, из скольких немецких лоскутков она сшила?



Лучшее в моей литературной деятельности — что десять человек кормились около нее. Это определенное и твердое.  
А мысли?..

Что же такое мысли...  
Мысли бывают разные.

(вагон).



Люди, которые никуда не торопятся — это и есть Божьи люди.

Люди, которые не задаются никакою целью — тоже Божьи люди.

(вагон).



Правду предсказывал Горький (в очень милом, любящем письме): «Ваше Уед.— разорвут» <...>

Но я довольно стоек. Цв. пишет — «вы затравлены». Ни малейше не чувствую, т. е. ни малейше не больно. Засяду за нумизматику, и «хоть ты тут тресни». Я сам собрал коллекцию богаче (порознь), чем в киевском и чем в московском университетеах. И которые собирались сто лет.



Любящему мужу в жене сладок каждый кусочек. Любящей жене в муже сладок каждый кусочек.

(на извозчике, похороны Суворина)  
(яркое солнечное утро).



Вечное детство брака — вот что мне хочется проповедать. Супруги должны быть детьми, должны быть щенятами. Они должны почти сосать мамку с папкой. Их все должны кормить, заботиться, оберегать. Они же только быть счастливы, и рождать прекрасному обществу прекрасных детей. В будущем веке первый год молодые будут жить не в домах, а в золотых корзинах.

(на извозчике, похороны Суворина).  
(яркое солнечное утро).



Успех в доброте и доброта в успехе...



Он был всегда ясен, прост и в высшей степени натурален. Никогда не замечал в нем малейшей черты позы, рисовки, « занятости собою », — черты почти всеобщие у журналистов. Никогда — « развалившийся в креслах » (самодовольство), что для писателя почти что Царство Небесное.

Писатель вечно лакомится около своего самолюбия.

(судьба и личность старика-Суворина).



...да я нахожу лучше стоять полицейским на углу двух улиц,— более « гражданским », более полезным, более благородным и соответствующим человеческому достоинству,— чем сидеть с вами « за интеллигентным завтраком » и обсуждать чванливо, до чего « у нас все дурно » и до чего « мы сами хороши », праведны, честны и « готовы пострадать за истину »...

Боже мой: и мог я несколько лет толкаться среди этих людей. Не задохся, и меня не вырвало.

Но, слава Богу, кой-что я за эти годы повидал (у В-ской).

Главное, как они «счастливы» и как им «жалъ бедную Россию». И икра. И двухрублевый портвейн.

(читая Изгоевá о Суворине, «Русская Мысль»:  
«сын невежественной попадыи и николаевского  
солдата, битого фуэтелями»). (Уверен, что этот  
Изгоев, почему-то никогда не смотрящий прямо  
в глаза, знает дорожку к Цепному мосту).



Евреи «делают успех» в литературе. И через это стали ее «шефами». Писать они не умеют: но при этом таланте «быть шефом» им и не надо уметь писать. За них напишут все русские,— что они хотят и им нужно.



<...>



5-го августа узнал о болезни Шуры.



Почему я так не могу перенести смерти? перенести *не вечности радостей земных*.

Цари умирали. Умер Александр III. Почему же я не могу перенести?

Не знаю. Но не могу перенести. «Я умру» — это вовсе не то, Что «он умрет». С «я умру» сливаются (однокачественно) только.... умрет; даже чудовищнее: п. ч. я грешный.

Да, вот в чем дело: для всего мира я тоже — «он умрет», и тоже — «ничего».

Каждый человек только для себя «я». Для всех он — «он». Вот великое solo. Как же при этом не зареветь с отчаянием.

(вагон, 9 авг. 1912 г.).



Церковь об умершем произнесла такие удивительные слова, каких мы не умеем произнести об умершем отце, сыне, жене, подруге. Т. е. она всякого вообще умирающего, умершего человека почувствовала так близко, так «около души», как только мать может почувствовать свое умершее дитя. Как же ей не оставить за это все, что...

(помешали).



Все хотел (1899—1909 гг.) сделать бархатное платье. И все откладывал. Теперь уж поздно. Бархатные отделки были. Как хорошо было (в Белом) светло-серое платье с серебряной отделкой (полоса вертикальная на боку,— и еще немногого где-то).

(у Таратина; жду за покупками для детей;  
мама выбирает).



Все писатели — рабы. Рабы своего читателя.



Но уж *кого* бы там ни было, а все-таки в нем существо *раба*.



Это все Мефистофель-Гутенберг устроил. Черная память.

(8 ч. утра; переезд в город).



Сестра Верочка (умирала в чахотке 19-ти лет) всегда вынимала мякиш из булки и отдавала мне. Я не знал, почему она не ест (не было аппетита). Но эти массы мякиша (из 5-тикопейчной булки) я съедал моментально, и это было наслаждение. Она меня же посыпала за булкой, и, когда я приносил, скажет: «подожди, Вася». И начинала, разломив вдоль, вынимать бока и середочку.

У нее были темные волосы (но не каштановые), и она носила их «коком», сейчас высоко надо лбом; и затем — гребешок, узкий, полукругом. Была бледна, худа и стройна (в семье я только был некрасив). Когда, наконец, решили (не было денег) позвать Лаговского, она лежала в правой зелененькой (во 2-м этаже) комнате. Когда он вошел, она поднялась с кровати, на которой постоянно лежала. Он сказал потом при мне матери:

— Это она похрабрилась и хотела показать, что еще «ничего». Перемените комнату, зеленые обои ей очень вредны. Дело ее плохо.

Как она умерла и ее хоронили, я ничего не помню.



Однажды она сказала мне: «Вася, принеси ножницы». Мне было лет едва ли 8. Я принес. Из печатного листка она выстригла узкую крошечную полоску и бережно положила к себе в книгу, бросив остальное. Напечатано было: *Самойло*. «Ты не говори никому, Вася». — Я мотнул головой.

Поступив в гимназию, я на естественной истории увидел за учительским столиком преподавателя, которого называли «Самойло». Он был умеренно высокого роста, гладко выбритый в щеках и губах, большие, слегка волнистые волосы, темно-русые, ходил всегда не иначе, как в черном сюртуке (прочие — в синих фраках), и необыкновенно торжественный, или вернее, как-то пышный, величественный. Он никогда не допускал себе сходить со стула и демократически «расхаживать по классу». Вообще в нем ничего не было демократического, простого. Среди других учителей, ужасно ученых, он был, как бог ученичества и важности. Может быть, за год он улыбнулся раза два, при особенно нелепом ответе ученика, — т. е. губы его чуть-чуть

сжимались в «мешочек», скорее морщились, но с видом снисхождения к забавному в ученике, дозволяя догадываться, что это улыбка. Говоря, т. е. пропуская из губ немногие слова, он всегда держал (рисуя по бумаге «штрихи») ручку с пером как можно дальше от пальцев,— и я видел благородные суживающиеся к концу пальцы с очень длинными, заостренными, без черноты под ними, ногтями, обстриженными «в тон» с пальцами (уже, уже,— ноготь: но и он обстрижен с боков конически).

Мы учили по Радонежскому или Ушинскому:

«Я человек хотя и маленький, но у меня 32 позвонка и 12 ребер»... И еще разное, противное. В 3-м классе (братья Федор) он (Самойло) учил ботанике. Это была толстая книга «Ботаника Григорьева»; но это уже были недоступности, на которые я не мог взирать.



В вечной тревоге ума о каком-то неблагополучии.

(мамочкина психология).

Но теперь, как все это разъяснилось, когда она 15 лет уже ясно, ощутимо больна, и никто ее не лечил.



...главная забота, откуда бы получить денежек, через Жуковского исходатайствовать от Двора; и где бы повиднее стать,— в профессоры...

Очень хорош был, как профессор. Подвязывал щеку и говорил, что зубы болят, не зная, как читать и о чем читать. Зачем ему надо-то было в профессоры.

Да: еще — кому бы прочитать рацею. Даже мамаше еще учеником уездного училища писал поучительные письма.

За всю деятельность и во всем лице ни одной благородной черты.

Все действия без порыва («благородный порыв»), какие-то медленные и тягучие. Точно гад ползет. «Будешь ходить на чреве своем».

(о Гоголе).



— Горе задавило! — (заплакав): — Да!!

(мама о Шуре, 9 авг. 1912 г., на извозчике.— перевив мои о чём-то слова).



Литературная память самая холодная. На тех немногих «литературных похоронах», на которых я бывал (и никогда не любил), меня поражало, до чего идущим за гробом — никакого дела нет до лежащего умершего. Разговоры. «Свои дела». И у «выдающихся» заботливая дума, что он скажет на могиле.

Неужели эти «сказыватели» пойдут за моим гробом. Бррр... То ли дело у простецов: жалость, слезы, все.



Мне кажется, церковь и преданные ей люди ужасно ошибаются, избирая для защиты церкви способы и орудия враждебной стороны — печать. Церковь — безмолвна. Церковь не печатна или «старопечатна». Зачем слово церкви? Слово ее — в литургии, в молитвах. Эти великие сокровища, сокровища церковного слова, уже созданы (еще до книгопечатания) и есть и всегда к пользованию. «Проповеди» едва ли нужны. Разве два-три слова и никогда больше пяти минут речи. Церковь должна быть безмолвна и *деятельна*.

Разве поцеловать больного, напутствуемого не *дело*? Это и *дело*, и *слово*. Поцелуй заменяет слово, поцелуй тем богаче слова — что, как музыка, он бесконечнее и неопределенное слова. Провел рукой по волосам. Кающегося и изнеможенного обнял ли. Вот «слово» церкви. Зачем говорить?

Говорят пусть литераторы.

И все церковные журналы и газеты — прах и тление...



— Беспросветный мрак...

(хоть раз в неделю,— годы,— засыпая на ночь,  
или так лежа, и — когда я подойду и спрошу:  
«Что ты?»).



Шура на ходу:

— Когда она лечилась? Никогда она не лечилась.

В самом деле,— не «лечение» же были эти тусклые визитации Наука с бромом, камфарой, digitalis\* и хинином.

Он ее «успокаивал», когда таяло вещество мозга и стачивалась ткань сердца.



⟨...⟩



При устроении брака (в стране) всегда нужно иметь в виду, что это есть вопрос (нужда) стад, вопрос тельцов, — «множества», «тьмы тьмущей»... и никак нельзя мотивировать на «наше дворянское сословие», вообще на городские привилегии и исключения... Эти и сами при уме устроятся и расположатся. Но «отворяй ворота стаду, стадищу, стадищам»: и естественно эти ворота не должны быть узки, иначе все сломается.

(за нумизматикой).



Обыкновенно каноны (греческой церкви о браке) имели в виду или императорскую фамилию, или патрициев. И через это упустили все (стадо). Патриархи константинопольские естест-

\* Наперстянка (лекарственное растение) (лат.).

венно хотели «утереть нос» (через свое право «не разрешать») кесарям, и были от этого горды и свободны в требованиях: и «едва разрешили 3-й брак». Но, споря со дворцами, они забыли «Ваську Буслаевича», который кричит: «Подавай мне десятый брак», и что же ему делать (такой вышел случай из 1 000 000 людей), если у него, без его вины, померло девять жен, а здоровье брызжет, кровь с молоком. И он орет насмешливо: «Не с подушкой же мне спать», «не на перине жениться».

И были правы патриархи (гордость церкви перед Византийским Двором), но и Васька Буслаевич тоже прав, п. ч. он — народ (стадо, тельцы).

—

Может ли девять жен умереть у мужа *без его вины*? Во-первых, у «жены-самарянки» умерли же, или куда-то от нее отошли, *семь мужей*, что уже не далеко от девяти. А во-вторых, рассказал мне Бакста, задумчивый и удивленный: «Может ли один человек испытать *два железнодорожных крушения в сутки?*». — Я ответил: «Конечно, нет!! Невероятно!!!» — «Представьте,— возразил он мне,— один мой знакомый ехал из Гавра в Лион: и потерпел крушение в поезде *Гавр — Париж*. Избавился, и так рад был продолжать путь, но был убит при крушении поезда *Париж — Лион*. Однодневное крушение поездов на *двух линиях*, конечно, возможно и уже не кажется *невероятным*; это вообще — *бывает*, по нескольку раз в год. Между тем, в этом совершенно возможном случае будет происходить *невероятное несчастье*: *один и тот же пассажир* испытает *два железнодорожные крушения в один и тот же день*. Это произойдет со всеми теми пассажирами, которые, «уцелев» в одном поезде — следовали дальше в своем пути и пересели в другой поезд, *тоже крушившийся*.

Чудо. А — есть. «Невозможно», а — «случается». Ибо — стада, миллионы. Так и в народе и народном браке, т. е. в диктовании законов о браке, церковная иерархия должна «благодатно предположить» все самые невероятные случаи. Дабы по завету Божию — «трости надломленной не переломить» и «льна курящегося не загасить».

*Голубой глаз* так и смотрит.

*Но нет так смотрит черный глаз.*



Когда Церковь устраивала пол (институт брака), то ведь видно, что она устраивала «не свое».

Устраивала не «своих».

И не «свои» — разбежались (XIX век, — да и всегда раньше; «нравы»).



Нельзя помещать коня в коровник, корову в стойло, собаку в птичник, курицу в собачью конуру.

И только.

(за нумизматикой; как устроен у нас брак; отсутствие развода).



Все убегающее, ускользающее неодолимо влечет нас.

Так в любви и в литературе. Неужели *так* — в истине? Боже, неужели так и в религии, где «Бога никогда же никто виде»?!!

(за ужином и Шерл. Холмсом, 20 авг.).



Не иллюзия ли это, что я считаю своими читателями только покупателей своих книг, т. е. 2 500 человек? В газете, правда, не отделить «вообще» (чит.) от *преданного тебе?* Но я по письмам знаю, что не читавшие ни одной моей книги — *преданы мне?* В таком случае, сразу иллюзия «нечитаемости» исчезла бы.

Не знаю. Колеблюсь в этот час. По отсутствию покупателей книг я заключил вообще, что «мало известн. в России» и не имею никакого влияния.

(глубок. ночью, за Шерл. Холмсом).



Человек искренен в пороке и неискренен в добродетели.



Смотрите, злодеяния льются, как свободная песнь; а добродетельная жизнь тянется, как панихида.

Отчего это? Отчего такой ужас?

Да посмотрите, как хорош «Ад» Данте и как кисло его «Чистилище». Тó же между «Потерянным Раem» Мильтона и его же «Возвращенным Раem». Отчего? Отчего??!

Одно исключение, кажется, единственное: олимпийские оды Пиндара, которым не соответствовало никакой басни, насмешки, сатиры.

Т. е. греки IV—V века до Р. Х.— вот они и были счастливы и чисты.

(в каб. уединения).



Порок живописен, а добродетель так тускла.

Что же все это за ужасы?!

(20 авг. 1912 г.).



Герцен напустил целую реку фраз в Россию, воображая, что это «политика» и «история»...

Именно, он есть основатель политического пустозвонства в России. Оно состоит из двух вещей: 1) «я страдаю», и 2) когда это доказано — мели, какой угодно, вздор, все будет «политика».

Т. к. все гимназисты страдают у нас от лени и строгости учителей, то с Герцена началось, что после него всякий гимназист есть «политик», и гимназисты делают политику.

Это не вообще «так», но в  $\frac{9}{10}$  — так.



...и все-таки, при всей искренности, есть доля хитрости. Если не в сказанном, то в том, чего не сказано. Значит, и в нашем «вдруг» и в выкриках мы все обращиваем себя шерсткой. «Холодно». «Некрасиво».

Какие же мы зябкие. Какие же мы жалкие.

(об «Уед.», за уборкой книг, осенью 1912 г.)



«Заштампованный человек», который судится и не по материалу, и не по употреблению, а — по «штампу». И кладутся на него «штампы» — один к другому, все глубже. Уже «вся грудь в орденах». И множество таких и составляют «заштампованное отчество».

Которое не хватает силы любить.  
И стали класть «штамп» на любовь.  
И положили «штамп» на церковь.  
Вот наша история.

(выйдя покурить на лестницу).



Осени поздней, цветы запоздалые...

этот стих для меня только миф. Ни осени, ни дерев осенью — не видел никогда (иначе, как в младенчестве).

Только появится грибок,— собирай книжки и отправляйся в город. «Начало ученья». Грибок появляется в августе, а иногда уже к концу августа: и вот этот год только 2 раза сходил с Васей за грибами, и почти ничего не нашел, так,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  сковородки, всяких — и подберезовиков, и сыроеожек, и лисичек даже. Белый — только один. А местность — грибная.

У детей — всех — чудная лесная память. Лет 6 назад, за Териоками, мы забрались совсем далеко и совсем в глушь, перескочив какие-то плетни и пробравшись через какие-то

болотца. Вдруг — вечереет. Я испугался: мама ждет к ужину, мама будет испугана. «Дети, скорее домой, темнеет!!!» Все — тут в один момент.

Я совершенно беспамятен, и знаю в общем — куда идти, но совершенно не помню дороги — где именно проходили. А ведь можно попасть в полуболотца и не выбраться до утра. Вдруг дети кричат. «Папа — сюда, папа — туда!!!» И Васька, такой крошечный, едва 7-ми лет, шагает уверенно, как король или старый лесовик. «Вон — береза, мы проходили мимо, вон — бугор, тогда остался влево». Так как уже темнело, то мы почти бежали, а не шли; и не прошло часа, как послышались «ау» прислуги, высланной нам навстречу.

Мама, вся обессилев от испуга, говорила:

— Что же это вы со мной делаете?..

— Ну, мама! — дети наши, как лесовики, их можно, куда угодно, пустить, не заблудятся.

И Таня, и Вера, и Варя — все как герои. Точно выросли, «доведя папу домой». И грибы. Корзинки. И сейчас — чистить на кухне (лучший момент удовольствия, «торжество правды» и «награда за подвиг»).



Чего же, в образовательном отношении, стоит один такой вечер; и неужели его можно заменить знанием:

Много есть имен на is  
Masculini generis:  
Panis, piscis, crinis, finis\*

О, черт бы их драл!!!

Но пусть это жестокая необходимость — в ноябре, в октябре, а не когда

•  
Роняет лес багряный свой убор.

Да, и эта строка для меня тоже миф. Мы ничего теперь этого не видели. Мои бедные дети, такие талантливые все, но которым ученье трудно,— никогда этого не видят.

---

\* Мужского рода: хлеб, рыба, волосы, конец (лат.).

Не видят, действительно, этого оранжевого великолепия лесов. А что ребенок, в 7—11 лет, почтует, увидев его,— кто иссчитал? кто угадал?

Может быть, оранжевый-то лес в детстве спасет его в страсти от уныния, тоски, отчаяния? Спасет от безбожия в юности? Спасет отрока от самоубийства.

Ничего не принято во внимание. Бедная наша школа. Такая самодовольная, такая счастливая в убожестве. «Уже проходим алгебру» (с сопляками, не умеющими утереть носа).



Необыкновенной глубины и тревожности замечание Тернавцева, года 3 назад. Я говорил чуть ли не об университетах, о профессорах, может быть, о правительстве и министрах. Он меня перебил:

— Пустое! Околоточный надзиратель — вот кто важен!

Он как-то повел рукой, как бы показывая окрест, как бы проводя над крышами домов (разговор был вечером, ночью):

— Тут вот везде под крышами живут люди. *Какие люди?* как они живут? — никто не знает, ни министр, ни ваш профессор. Наука не знает, администрация не знает. И не интересуется никто. Между тем, *какие люди живут и как они живут* — это и есть узел всего; узел *важности*, узел *интереса*. Знает это один *околоточный надзиратель*, — знает молча, знает анонимно, и в состав его службы входит — *все знать*, «на случай»; хотя отнюдь не входит в состав службы обо всем докладывать. Он знает *вора*, — он знает *проститутку*, — он знает шулера, человека сомнительных средств жизни, знает изменяющую жену, знает ходы и выезды женщины полусвета. Все, о чем гадают романы, что вывел Горький в «На дне», что выводят Арцыбашевы и другие — вся эта тревожная и романтичная жизнь, тайная и преступная, ужасная и святая, находится, «по долгу службы», в ведении околоточного надзирателя, и еще, «по долгу службы», ни в чьем ведении не находится.

Он почти только не договорил, или мысленно я договорил за него:

— Вот бы где служить: где подлинно — *интересно*, где подлинно — *всемогущество*!

Я только ахнул в душе: «В самом деле — *так!* и — никому в голову не приходило!»

Он как-то еще ярче и глубже это сказал. Почти в этом смысле: все службы — призрачны и литературны, а действительная служба одна — это полицейская».

Сам Тернавцев — благороднейший мечтатель, à la Гамлет. И вдруг — такая мысль!

(20 августа, 12 ч.)



⟨...⟩



Вся русская «оппозиция» есть оппозиция лакейской комнаты, т. е. какого-то заднего двора — по тону: с глубоким сознанием, что это — задний двор, с глубокой болью — что сами «позади»; с глубоким сознанием и *признанием*, что критикуемое лицо или критикуемые лица суть барин и баре. Вот это-то и мешает слиться с оппозицией, т. е. принять тоже лакейский тон. Самым независимым человеком в литературе я чувствовал Страхова, который никогда даже о «правительстве» не упоминал, и жил, мыслил, и, наконец, служил на государственной службе (мелкая и случайная должность члена Ученого Комитета министерства просвещения с 1 000 р. жалованья), имея какой-то талант или дар, такт или вдохновенье вовсе не интересоваться «правительством». То ли это, что лакей-Михайловский, «зачарованный» Плеве, или что «дворовый человек» Короленко, который не может прожить дня, если ему не удастся укусить исправника или земского начальника или показать кукиш из кармана «своему полтавскому губернатору». «А то — и повыше», — думает он с трясущимися поджилками. «На хорах был пристав: и вот Анненский, сказав после какого-то предупреждения, что *пусть нас слушают и там* — показал на хоры», — пишет Любовь Гуревич, — т. е. показал на самого пристава!!! Какая отчаянная храбрость. Страхов провалился бы сквозь землю от неуважения к себе, если бы в речи, имеющей культурное значение, он допустил себе, хоть минуту, подумать о приставе. Он счел бы унижением думать даже о министре внутренних дел, — имея в думах лишь века и историю. Вот

эта прелестная свобода *не радикалов* — к ним и манит, т. е. манит к славянофилам, к русским, которые решительно ничего о «правительстве» не думают, *ни* — «да», *ни* — «нет», *и — да*, *и — нет*. Когда хорошо правительство поступает — «да», когда худо, бездарно, беспомощно — «нет». Правительство есть просто орган народа и общества; и член общества, писатель, смотрит на него, как на слугу своего, т. е. слугу таких, *как он*, обывателей, граждан. Так. образ., признание «верховенства власти» есть у радикалов, и решительно его нет у «нашего брата». Вот чего не разобрано, вот о чем не догадываются. Политическая свобода и гражданское достоинство есть именно у консерваторов, а у «оппозиции» есть только лакейская озлобленность и мука «о своем ужасном положении».



### Покорить брак закону любви...

казалось бы, в этом ведь христианство: все — покорять закону согласия, мира, тишины. Но, именно, в христианстве,— не в мусульманстве, не в еврействе,— две тысячи лет бьется другой принцип:

Покорить любовь закону брака.

И все в этом задыхаются.



Кажется, что в нашем браке — и не Евангелие, и не Библия (уж, конечно): это — римский государственный брак. Отцы Церкви были все обывателями Греко-Римской Империи, или — чисто Римской: и понятие об «основной социальной клеточке» взяли из окружающей жизни.



Вот почему мои порывы к новой семье, хотя кажутся и суть «антиканонические», но суть подлинно евангельско-бблейские стремления, и только антиримско-языческие, неосторожно взятые в «каноны».

Бог сотворил любовь. Адам и Ева были в любви — и по сему, единственно, Библия их нарекла иши и иша («сопряженные»), муж и жена. Любовь древнее «закона брачного». И понятно, что древнейшее и основное не умеет покориться новому и прибавочному.

Не «существительное» согласуется в роде, числе и падеже с «прилагательным», а «прилагательное» согласуется с «существительным».

И следуйте этому, попы; или, во всяком случае, вам не будут повиноваться.

Будете убивать за это, и все-таки вам повиноваться не будут: по слову Писания — «любовь сильнее даже и смерти».



Очень хорошо «расположение образования» в стране: от 8-ми до 22-х лет — прилежное учение. «Долбеж», от которого не поднимешь головы... От 22-х лет до 35-ти — корректная служба, первые чины и первые ордена. В 35-ть лет — статский советник. Женат (с приданным) и первые дети; ну, это — «кухня и спальня». Достигнув статского советника, — карточный стол, мелок, и пока — он проигрывает начальству, а потом — ему будут проигрывать подчиненные. Тогда он будет уже действительный статский советник.

Потом умрет. И в черной кайме «жена и дети» извещают, что «после тяжкой болезни» Иван Иваныч, наконец, «скончался».



Это здоровая реакция на «глупости», что гимназисты не учатся.

— Не учитесь, господа. Ну их к черту. Шалите, играйте. Собирайте цветы, влюбляйтесь. Только любите своих родителей

и уважайте попов (ходите потихоньку в церковь). На экзаменах «списывайте», — в удовлетворение министерской ненасытности.

В 20 лет, когда уже будете, конечно, женаты, начинайте полегоньку читать, и читайте все больше и больше, до самой смерти.

Тогда она настанет поздно, и старость ваша будет мудрая.



...а тó вас с детства делают старишками, а в старости предложат жениться. «Ибо уже так мудр, что можешь теперь воспитывать детей», которых теперь родить не можешь.

Вы им скажите, взрослым:

— Нет, папаша: я буду за книгами и бумагой, за письменным столом и делами сидеть — под старость. Ибо будет ум «вершить дела». А теперь я — глупенький, побегу в поле, нарву цветов и отнесу их девочке.



Из этих слов И. Христа, что «нельзя разводиться мужу и жене, токмо как по вине прелюбодеяния», духовенство извлекло больше доходов, чем из всех австралийских, и калифорнийских, и алтайских золотых россыпей.

И хотя отсюда брызнули кровь и мозг человечества: церковь не может их перетолковать, распространить или усложнить, потому что иначе закроются золотоносные россыпи. И на отст�ивание и сохранение буквальными этих слов положено более усилий, чем на защиту всего Евангелия.

Что не отдаст человек за восстановление своего семейного счастья? В эту-то кнопку духовенство и надавило.

(посвящается памяти С. А. Рачинского).



Теряя девственность, девушка теряет свое *определение*.

Она не согрешила (закон природы), она никого не обидела. Всему миру она может сказать: «Вам какое дело». Так.

—

Но когда с нею будут говорить, как с девушкою, как с «барышнею», а — не «барыней», не как с «дамою», ведь она не скажет:

— Я уже не девушка.

Она нечто утаит. И это на каждом шагу. Всякий день она вынуждена будет солгать. Она окажется в положении, как «с не своим паспортом» в дороге; с «ложным видом» в кармане.

Правдивая в девстве, искренняя в девстве, прямая в девстве, — теперь (потеряв девство) она будет вынуждена каждый день согнуться, скривить, сказать «неправду» и упрекнуть себя за «недостаток мужества».

Это такая мука.

Но и еще ужаснее, что, «сгибаемая бурей», она, наконец, начнет расти криво, как-то «боком», неправдиво.

Она вся потускнеет. Сожмется. И вовсе не по «греху», кое-гого нисколько не содержится в совокуплении, но по этим обстоятельствам — потеря «девственности», в самом деле, есть «падение». И эмпирически с этого времени девушка обыкновенно «падает» и «падает». «Падает» в должности. «Падает» в труде. Падает «дома».

—

Но анафемы (общество, старшие): предупредите же это ужасное несчастье детей ваших своевременным, возможно раним замужеством. И никогда не смеяйте кричать — «ты пала» (родители дочерям), когда уже 3—4 года прошло, когда она все томилась, ожидая.

(т. е. после «сформирования»); (вообще должен быть в законе определен срок «уплаты векселей», срок — пока девушка «обязана ждать». Пока — все обществу, и ничего — девушке. Закон должен, напр., сказать: «После 30 лет сохранение девства не обязательно, и материнство не несет никакого порицания, а ребенок — законен»).



Да, я тоже думаю, что русский прогресс, рожденный выгнанным со службы полицейским и еще клубным шулером, далеко пойдет:

Сейте разумное, доброе, вечное.  
Сейте. Спасибо вам скажет сердечное  
Русский народ.

Вообще у русского народа от многочисленных «спасибо»  
шея ломится. Со всех сторон генералы, и где военный попросит  
одного поклона, литературный генерал заставит «век кла-  
няться».

Щедрину и Некрасову кланяются уж 50 лет.



Все-таки бытовая Русь мне более всего дорога, мила,  
интимно близка и сочувственна.

Все бы любились. Все бы женились. Все бы растили деточек.  
Немного бы их учили, не утомляя, и потом тоже женили.  
«Внуки должны быть готовы, когда родители еще цветут» —  
мой канон.

Только «†» страшна.

(вернувшись со свадьбы Свето-  
зара Степановича).



Кто же была Суламифь?  
Каждая израильянка в вечер с пятницы на субботу.



«Песнь песней» надо сближать с тем местом Иезекииля  
(14 или 16-ая глава), где говорит через пророка Б., как он  
встретил деву Израиля: «и груди (только что) поднялись у те-  
бя»... «и волосы показались»... и «Я взял кольцо и вдел тебе  
в ноздри, и повесил в уши запястья»... И т. д. «Но ты... всем  
проходящим по дороге давала жать свои сосцы... и Ассур,  
и Египтянину»...

(за газетами утром).



Место это — чудно. Его каждый юноша и каждая девушка  
должны заучить наизусть,— как корень жизни своей, как  
основание прав своих:

*Книга пророка Иезекииля, глава XVI:*

И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий!» выскажи Иерусалиму мерзости его.

«И скажи: так говорит Господь Бог дщери Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской; отец твой Аморрей и мать твоя Хаттеянка;

При рождении твоем, в день, как ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита.

Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; но ты выброшена была на поле, по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего.

И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попранье в кровях твоих, и сказал тебе: «в кровях твоих живи!» Так. Я сказал тебе: «в кровях твоих живи».

Умножил тебя, как полевые растения; ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты: поднялись груди, и волосы у тебя выросли; но ты была нага и непокрыта.

И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было время твое, время любви; и простер Я воскрылия риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою,— говорит Господь Бог; и ты стала Моею.

Омыл Я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем.

И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьяные сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом.

И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье.

И дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец.

И пронеслась по народам слава твоя.

И взяла нарядные твои вещи из Моего золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, и сделала себе мужские изобретения, и блудодействовала с ними.

И взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей Мой и фимиам Мой,

И хлеб Мой, который Я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми Я питал тебя,— ты поставляла перед ними в приятное благовоние. И это — было, говорит Господь Бог».



Получил два характерных письма.

Многоуважаемый Василий Васильевич!

Я решился обратиться к вам с просьбой, которая вам, быть может, покажется странной и даже нахальной. Я — студент 3-его курса Психо-Неврологического ин-та. Денег своих не имею. Живу помошью отца.

Эти деньги меня страшно тяготят — прямо «руки жгут».

С удовольствием отказался бы от этой поддержки. Но больше мне неоткуда ждать помощи. Зарабатывать уроками и т. п.— сами знаете, что это такое!..

Я и решил, при первой возможности, отказаться от денег отца. И вот мне пришло в голову попросить у вас 2 000 руб. Может быть, мои соображения слишком наивны — но когда я узнал, что у вас имеется 35 000 руб. (Уединенное), я решил, что вы вполне можете уделить мне 2 000 руб.

На эти деньги я мог бы еще 4 года проучиться (раньше кончить не удастся), затем стал бы выплачивать самим усердным образом.

Мне будет очень обидно, если вы меня примете за афериста.

На что я решился — мною глубоко продумано. Конечно, гарантии своей честности я вам представить не могу — вы можете мне или поверить, или с омерзением бросить письмо в корзинку...

Во всяком случае, для меня — моя просьба вещь серьезная и я прошу вас поверить, что в ней нет ничего шарлатанского.

Мне бы очень хотелось получить от вас ответ.

Г. Ш.

Адр. СПБ. Екатерининская ул. д. NN

Студенту Г. И. Ш.

27 авг. 1912 г.

Р. S. Мне желательно, чтобы содержание этого письма осталось между нами.

Г. Ш.

Удивительно: автор, нужду коего я должен заметить,— не заметил в том же «Уед.», что около 35 000 кормятся 11 человек, из них — 5 маленьких детей, и — больная затяжно годы, жена. «*Мне до вас — дела нет; но вам до меня — есть дело.*

— Но почему?

— Я студент, будущность России, а вы — старик и ничего. Очень мило.

М. Г.

Частенько в газетах мне приходилось читать: такой-то утопился, такой-то застрелился, та-то отравилась; оставляя перед смертью записку: «Есть нечего», «Нечем было жить». И прочитавши про какое-либо самоубийство, я думал:

«Неправда, не может быть, чтобы человеку, который имеет руки и желает работать, нечем было жить; тут не что иное, как оправдание перед кем кто в своей преждевременной кончине». Я думал, что такой человек имеет какую-то душевную драму, и, не в силах ее пережить — он лишает себя жизни. Записка? — записка открывает лишь часть, малую часть его душевой драмы; простое совпадение обстоятельств.

И так думая, я приходил к такому выводу: Человек, если он может и желает работать, всегда может отыскать для себя труд и прокормить себя, и никогда не решится, исключительно из-за этого, лишить себя жизни. И я это еще увереннее говорил про холостого человека.

Но мне, совершенно неожиданно для меня, пришлося прийти к обратному заключению. И не при помощи каких-либо умозаключений, а просто испытывая это поневоле на себе.

Познакомлю Вас с собой.

Я техник, окончил курс низшего механико-технического училища, где учился первым учеником, и не потому, что я очень зурил, а потому, что мне очень легко давалось то, что давалось другим с трудом. Служил на одном месте и учился дома; хотел все сдать экзамен на аттестат зрелости. Но видя, что успехи по учению у меня неважные, — репетитора же я не мог нанять, — я решил ехать в Петербург, зная, что здесь (в Петербурге) я могу довольно дешево приготовиться, отдавая для этого свободные вечера.

Приехал. Работу на первое время нашел. Начал присматривать места. Работа кончилась. А места все найти не могу. Вот уже 2 месяца; как я ищу работы или места; но его нет. Я искал его в различных отраслях труда: я мог бы быть чертежником, слесарем, работать на станках по обработке металла или дерева, мог бы ухаживать за паровой машиной, двигателем или динамомашиной, или же быть монтером по электричеству; но где бы я ни просил, соглашаясь вперед на какое угодно жалование, мне всегда отказывали ~~—~~ «У нас полный комплект служащих». «Все места заняты». Вот тот типичный ответ, который я получал в конторах и правлениях, или же — от сторожа, где не пускали не только работать, но и просить места. Все деньги, которые я привез и заработал, были или прожиты, или израсходованы на объявления; осталось от них всего 3 рубля, — да не улыбающаяся перспектива помирать с голоду. Помереть с голоду! как это звучит? но нет! я до этого не дойду, и лишу себя жизни.

В России с голоду никто не умирал, а я показывать пример не буду. Я пойду старой, проторенной другими, дорожкой.

Правда, есть еще другие выходы: или идти просить милостыню, или пойти служить мальчиком на посыпках; но то и другое я сделать не хочу, потому что не могу.

Я хочу жить! Я хочу работать! Я могу работать! У меня свежие силы. Но что же мне делать, когда получаю такой ответ: «Все места заняты!» Что?

«Полный комплект служащих. Нам больше не надо».

Тут кипит жизни! тут идет работа! а я? — Я лишний. Ведь не такой же

я лишний, как лишний пуд для носильщика тяжестей; как лишний в шлюпке человек при кораблекрушении. Положи лишний пуд носильщику на спину, и он упадет и другие не снесет. Посади лишнего человека в лодку, лодка потонет, и никто не спасется. Ведь не такой же я лишний? Как вы думаете?

А время летит. Придет час, и одним человеком меньше станет. Такова жизнь! Всему научили меня,— не то, так другое могу делать; а главному: как жить? как приспособиться к жизни? — и забыли научить. Фонарей в дорогу много надавали, а спичек не дали; потухли фонарики один за другим: вот и заблудился! и темно! темно!

Если прибавить к этому письму мой адрес, то я боюсь, что вы подумаете, что я хочу порисоваться,— или, что еще хуже, вы можете подумать, что я прошу помощи: и я решил послать вам это письмо без адреса и фамилии. Так будет лучше! Да!

С почтением к вам пребываю

.ов.

СПБ.

Октября 11 дня

1911 г.

Какое страшное письмо. Усилия мои предупредить несчастье — письмо в газете к анониму — прийти ко мне, уже, вероятно, опоздало.



Толстой удивляет, Достоевский трогает.



Каждое произведение Толстого есть здание. Что бы ни писал или даже ни начинал он писать («отрывки», «начала») — он строит. Безде молот, отвес, мера, план, «задуманное и решенное». Уже от начала всякое его произведение есть в сущности до конца построенное.

И во всем этом нет стрелы (в сущности, нет сердца).

Достоевский — всадник в пустыне, с одним колчаном стрел. И капает кровь, куда попадает его стрела.

Достоевский дорог человеку. Вот «дорогого»-то ничего нет в Толстом. Вечно «убеждает», ну и пусть за ним следуют «убеж-

денные». Из «убеждений» вообще ничего не выходит, кроме стоп бумаги и собирающих эту бумагу, библиотеки, магазины, газетного спора и, в полном случае, металлического памятника.

А Достоевский живет в нас. Его музыка никогда не умрет.  
(сентябрь).



На том свете, если попадешь в рай, будут вместо воды поить арбузами.

(за арбузом).



— Какой вы хотели бы, чтобы вам поставили памятник?  
— Только один: показывающим зрителю кукиш.

(в трудовом дне).



У меня есть какой-то фетишизм мелочей. «Мелочи» суть мои «боги». И я вечно с ними играюсь в день.

А когда их нет: пустыня. И я ее боюсь.



«Пароход идет» писательства — идет при горе, несчастии, муках души... Все «идет» и «идет»... Корректуры, рукописи...

(история рыжей лошадью из Лисино).



Крепче затворяй двери дома, чтобы не надуло.  
Не отворяй ее часто. И не выходи на улицу.



Не сходи с лестницы своего дома — там зло.  
Дальше дома зло уже потому, что дальше — равнодушие.  
(Лисино).



Так, один около одного болтается: Горнфельд трется о спину Короленки, Петрищев где-то между ногами бегает, выходит — куча; эта куча трется о такую же кучу «Современного мира». Выходит шум, большую частью, «взаимных симпатий» и обоюдного удивления таланту. Но почему этот «шум литературы» Россия должна принимать за «свой прогресс»?

Не понимаю. Не поймет ни пахарь, ни ремесленник, и разве что согласится чиновник. «Я тоже бумажное царство,— подумает он,— и не разумею, для чего они отделяются от меня. Мы вполне гармоничны».



Ты бы, демократ, лучше не подслушивал у дверей, чем эффектно здороваться со швейцарами и кухарками за руку. От этого жизнь не украсится, а от того, решительно, жизнь воняет. Притом надо иметь слишком много самообольщения и высокомерия, чтобы думать, будто она — будет осчастливлена твоим рукопожатием. У нее есть *свое достоинство*, и, как ни странно, в него входит получить гравенник за «пальто», которого ты никогда не даешь.



— Нет, папа, ты ошибаешься. Когда мы недели 2 там жили,— помнишь, когда вернулись рано с Кавказа,— то я раз утащила на кухне морковку, а она увидала. Ну, что морковка? Я выбежала и, не доев, бросила в канавку, а с испугу сказала, что не брала. Так она мучила меня, мучила.— «Ты дурная, Таня, девочка, украла и солгала. Я маме твоей скажу». И жаловалась на меня маме, что я лгала, когда она приехала. А что морковка?

(социал-пуританка Лидия Эрастовна).



Отвратительная гнойная муха — не на рогах, а на *спине* быка, везущего тяжелый воз — вот наша публицистика, и Чернышевский, и Благосветлов: кусающие спину быку.



Россия иногда представляется огромным буйволом, съевшим на лугу траву-зелье, съевшим какую-то «гадину-козулю» с травою: и, отравленный ею, он завертелся в безумном верченье.

(Желябов и К-о).



Дочь курсистка. У нее подруги. Разговоры, шепоты, надежды...

Мы «будем то-то»; мы «этого ни за что не будем»... «Согласимся»... «Не согласимся»...



Все — перед ледяной прорубью, и никто этого им не скажет:

«Едва вы выйдете за волшебный круг Курсов, получив в руки бумажку «об окончании», — как не встретите никого, ни одной руки, ни одного лица, ни одного учреждения, службы, где бы отворилась дверь, и вам сказали: «Ты нам нужна».

И этот ледяной холод — «никому *не нужно*» — заморозит вас и, может быть, убьет многих.

Но терпите. Боритесь, терпите. Это ледяное море приходится каждому переплывать, и кто его переплынет — выползет на берег.

Без перьев, без шлейфа, кой-какой. Но вылезет.



<...>



Две курсистки и четыре гимназиста, во имя «правды в душе своей», решили совершить переворот в России.

И не знают, бедные, что и без «переворота» им, по окончании (курса), будет глотать нечего. И будут называть «ваše превосходительство», чтобы не умереть с голоду.

И печать их подбодряет: «идите! штурмуйте!» — Азефы,— милые люди. Азефы, и — не больше.

(*Короленке и Пешехонке*).



Все люди утруждены своим необразованием,— один Г. находит в этом источник гордости и наслаждения. Прежде, когда он именовал себя «социалистом-народником» (с такой-то фамилией), он говорил в духе социалистов, что «хотя ничему не учился, однако все знает и обо всем может судить». Объяснить ему, что Португалия и Испания — это *разные* государства, нет никакой возможности: ибо он смешивает «Пиринейский полуостров» с «Испанией». Теперь, когда он стал «народником и государственником», он считает не согласным со своими «русскими убеждениями» знать географию Европы. Раз — без всякого повода, но со счастливым видом,— он стал говорить, будто «сказал Столыпину, что его взгляды на Россию совершенно ошибочны».

— Александру Аркадьевичу Столыпину?

Как бы кушая бланманже:

— Н-е-е-е-т. Петру Аркадьевичу. Я сказал ему, что совершенно ни в чем с ним не согласен. Tout le monde est frappé que G\*.

Не знаю, был ли счастлив Столыпин поговорить с Г., но Г. был счастлив поговорить со Столыпиным.

И, уезжая домой, в конке, вероятно, думал:

— Что теперь Столыпин думает обо мне?

Эта занятость Столыпина Г-ом и Г-а Столыпиным мне представляется большим историческим фактом. «В груду истории должен быть положен везде свой камешек». И Г. усердно положил «свой».

(на «приглашение» в Славянское Общество).

\* Все удивлены, что Г. (франц.).



К силе — все пристает, с силою (в союзе с нею) — все безопасно: и вот история нигилизма или, точнее, нигилистов в России.

Стоит сравнить тусклую, загнанную, «где-то в уголку» жизнь Страхова, у которого не было иногда щепотки чая, чтобы заварить его пришедшему приятелю,— с шумной, широкой, могущественной жизнью Чернышевского и Добролюбова, которые почти «не удостаивали разговором» самого Тургенева; стоит сравнить убогую жизнь Достоевского в позорном Кузнецном переулке, где стоят только извощицы дворы и обитают по комнатушкам проститутки,— с жизнью женатого на еврейке-миллионерке Стасюлевича, в собственном каменном доме на Галерной улице, где помещалась и «оппозиционная редакция» «Вестника Европы»; стоит сравнить жалкую полужизнь,— жизнь как *несчастье и горе*,— Кон. Леонтьева и Гилярова-Платонова — с жизнью литературного магната Благосветлова («Дело») и, наконец,— жизнь Пантелеева, в палаццо которого собралось «Герценовское Общество» (1910-11 г.) с его более чем сотнею гостей-членов, с жизнью «Василия Васильевича и Варвары Дмитриевны», с Ге и Ивановым за чашкой чаю,— чтобы понять, что нигилисты и отрицатели России давно догадались, где «раки зимуют», и побежали к золоту, побежали к чужому сытному столу, побежали к дорогим винам, побежали везде с торопливостью *неимущего* — к *имущему*. Нигилизм давно лижет пятки у богатого — вот в чем дело; нигилизм есть *прихлебатель у знатного* — вот в чем тоже дело. К «Николаю Константиновичу» на зимнего и весеннего Николу (праздновал именины два раза в год) съезжались не только из Петербурга, но и из Москвы литераторы; из Москвы специально поздравить приезжал Максим Горький (как-то писали), и курсистки — с букетами, и студенты — должно быть пролепетать свою «оппозицию» и «поздравление»; и он раздавал свои порицания и похвалы, как возводил в чин и низвергал из чинов. Об этом неумытом нигилисте Благосветлове я как-то услышал у Суворина рассказ, чуть ли не его самого, что в кабинет его вела дверь из черного дерева с золотой инкрустацией, перед которой стоял слуга-негр, и вообще все «как у графов и князей»; это уж не квартирка бедного Рцы с его Ольгой Ивановной «кое в чем». Вот этих «мелочей» наша доверчивая и наивная провинция не знает, их узнаешь, только приехав в Петербург, и узнав — дивишься великим дивом. Гимназистом в VI-VII-VIII

классах я удивлялся, как правительство, заботящееся о культуре и цивилизации, может допустить существование такого гнусно-отрицательного журнала, где стоном стояла ругань на все существующее, и мне казалось — его издают какие-то пьяные семинаристы, «не окончившие курса», которые пишут свои статьи при сальных огарках, после чего напиваются пьяны и спят на общих кроватях со своими «курсистками»: но «черные двери с негром» мне и нам всем в Нижнем и в голову не приходили... Тогда бы мы повернули дело иначе. «Нигилизм» нам представлялся «отчаянным студенчеством», вот пожалуй «в повалку» с курсистками: но все — «отлично», все — «превосходно», все — «душа в душу» с народом, с простотой, с бедностью. «Грум» (негр) в голову не приходил. Мы входили «в нигилизм» и в «атеизм» как в страдание и бедность, как в смертельную и мучительную борьбу против всего сытого и торжествующего, против всего сидящего за «пиршеством жизни», против всего «давящего на народ» и вот «на нас, бедных студентов»; а в самом нижнем ярусе — и нас, задавленных гимназистов. Я прямо остолбенел от удивления, когда, приехав в Петербург, вдруг увидел, что «и Тертий Иванович в оппозиции», а его любимчик, имевший 2 000 «аренды» (неотъемлемая по смерть награда ежегодная по распоряжению Государя), выражается весьма и весьма сочувственно о взрывчатых коробочках: тут у меня ум закружился, тут встал дым и пламя в душу. «Ах, так вот где оппозиция: с орденом Александра Невского и Белого Орла, с тысячами в кармане, с семгой целыми рыбами за столом». — «Это совсем другое дело». Потом знакомство со Страховым, который читал «как по-русски» на 5-ти языках и как специалист и виртуоз знал биологию, математику и механику, знал философию и был утонченным критиком и которому в журналистике некуда было, кроме плохо платившего «Русского Вестника», пристроить статейку... Потом пришел ушедший от Михайловского Перцов, с его великодушными (при небольших своих средствах) изданиями чужих трудов...

Я понял, что в России «быть в оппозиции» — значит любить и уважать Государя, что «быть бунтовщиком» в России — значит пойти и отстоять обедню, и, наконец, «поступить как Стенька Разин» — это дать в морду Михайловскому с его «2-мя именинами» (смеющийся рассказ Перцова). Я понял, что «Русские Ведомости» — это и есть служебный департамент, «все повышающий в чинах», что Елизавета Кускова — это и есть «чиновная дама», у которой все подходят «к ручке», так как она издавала высокопоставленный журнал «Без загла-

вия». Что «несет шлейф» вовсе не благородная, около нищих и проституток всю жизнь прожившая, княжна Дондукова-Корсакова (поразительна биография,— в книге Стасова о своей сестре), а «несут длинный трэн» эта же Елизавета Кускова, да Софья Ковалевская, и перед ними шествующие «кавалерственные дамы» с Засулич и Перовской во главе, которые великолдушную и святую Дондукову-Корсакову даже не допустили «на аудиенцию к себе» в Шлиссельбурге. Тогда-то я понял, где оппозиция; что значит быть «с униженными и оскорбленными», что значит быть с «бедными людьми». Я понял, где корыто и где свиньи, и где — терновый венец, и гвозди, и мука.

Потом эта идиотическая цензура, как кислотой выедающая «православие, самодержавие и народность» из книг; непропуск моей статьи «О монархии», в параллель с покровительством социал-демократическим «Делу», «Русскому Богатству» etc. Я вдруг опомнился и понял, что идет в России «кутеж и обман», что в ней встала левая «опричнина», завладевшая всею Россию и плещущая купоросом в лицо каждому, кто не примкнет «к оппозиции с семгой», к «оппозиции с шампанским», к «оппозиции с Кутлером на 6-ти тысячной пенсии»...

И пошел в ту тихую, бессильную, может быть, в самом деле имеющую быть затоптанною оппозицию, которая состоит в:

- 1) помолиться,
- 2) встать рано и работать.

(15 сентября 1912 г.)



*Где, однако, погибло русское дело, русский дух? как все это (см. выше) могло стать? сделаться? произойти?*

В официальности, торжественности и последующей «наградке».

В той самой «вони», в которой сейчас погибает (?) нигилизм.

Все объясняется лучше всего через *случай*, о коем, где-то вычитав, передавал брат Коля (лет 17 назад).

Однажды ввечеру Государь Николай Павлович проходил по дворцу и услышал, как великие княжны-подростки, собравшись в комнату, поют «Боже Царя храни». Постояв у отворенной в коридор двери,— он, когда кончилось пение, вошел в комнату и сказал ласково и строго:

— Вы хорошо пели, и я знаю, что это из доброго побуждения. Но *удержитесь вперед*: это священный гимн, который нельзя

петь при всяком случае и когда захочется, «к примеру» и почти в игре, почти пробуя голоса. Это можно только очень редко и по очень серьезному поводу.

Разгадка всего.

У нас в гимназиях и, особенно, в тогдашней подлой Симбирской гимназии, при Вишневском и Кильдюшевском, с их оскверняющим и оскорбляющим чинопочитанием, от которого душу воротило, заставляли всей гимназией перед портретом Государя петь *каждую субботу* «Боже Царя храни», да и теперь, при поводе и без повода, везде и всякая толпа поет «Боже Царя храни»...

Как?

— Конечно, *бездушно!*

Нельзя каждую субботу испытывать патриотические чувства, и все мы знали, что это «Кильдюшевскому с Вишневским нужно», чтобы выслужиться перед губернатором Еремеевым: а мы, гимназисты, сделаны орудиями этого низменного выслушивания.

И, конечно, мы «пели», но каждую субботу что-то улетало с зеленого дерева народного чувства в каждом гимназисте: «пели» — а в душонках, маленьких и детских, рос этот желтый, меланхолический и разъяренный нигилизм.

Я помню, что именно Симбирск был родиною моего нигилизма. А я был там во II и III классе; в IV-м уже переехал в Нижний.

Вот в этом официально-торжественном, в принудительном «патриотизме» — все дело. Мне иногда думается, что «чиновничество» или, вернее, всякие «службы» пусть бы и остались: но с него нужно снять позументы и нашивки, кстати очень смешные и кургузые, *курьезные*. Как и ордена, кроме разве самых высших, лент и звезд. Все эти служебные «крестики» ни на что не похожи и давно стали посмешищем всех. «Служилый люд» должен быть одет в простой черный кафтан, — и вообще тут может быть придумано нечто строгое, серьезное и простое. Так же все эти «поздравления с праздниками начальства», вероятно мешающие только ему отдохнуть, веселиться, «разговеться со своими» (в семье) — вся эта поганая шушера должна быть выметена и просто-напросто «в один прекрасный день» запрещена.

Чувство Родины — должно быть строго, сдержано в словах, не речисто, не болтливо, не «размахивая руками» и не выбегая вперед (чтобы показаться).

Чувство Родины должно быть великим горячим молчанием.

(15 сентября).



Теперь вы поищите Магнитских да Русилей, да Аракчеева и Фаддея Венедиктовича Булгарина — в своем лагере, господа.

(радикалам).



Все «наше образование» — не русское, а европейское нашего времени — выразилось в:

— Господа! Предлагаю усопшего почтить вставанием.  
Все встают.

Кроме этого лошадиного способа относиться к ужасному, к несбыточному, к неизрекому факту смерти, потрясающему Небо и Землю, наша цивилизация ничего не нашла, не выдумала, не выдавила из своей души.

— «Встаньте, господа!» — вот и вся любовь.  
— «Встаньте, господа!» — вот и вся мудрость.  
Дарвин, парламент и войны Наполеона, всем бесчисленным умершим и умирающим, говорят:  
— «Мы встали». — «Когда вы умрете — мы встанем».  
Это до того рыдательно в смысле наших «способностей», в смысле нашей «любви», в смысле нашего «уважения к человеку», что...

Ну и что же, мы будем «реформировать Церковь» с такими способностями?..

Да ведь ни в ком из нас, во всей нашей цивилизации, нет ни одной капельки той любви, нет ни одной капельки того безбрежного уважения к человеку, какие сказаны церковью при созидании этих (погребальных) обрядов, слов, песнопений, чтений, сказаний, сказаны — и все это запечатлелось как документ. Какой у нас документ любви?!

«Встали! Постояли!!»  
— Ослы!  
Что скажем еще, кроме «ослы».



Вот эта-то «важная попытка реформации», — попытка с пустым сердцем, попытка с ничтожным умом, — она потрясает Европу... Тут «и декаденты», и «мы», «и эгофутуристы», всякие «обновленцы», и еще «Дума» и Караполов.

Да, «постояли мы» и над Караполовым. Надо было ему с того света чихнуть нам: «Мало».



#### Рассказ Кускова (Пл. А.):

— Все жалуются, что полиция притесняет бедных обывателей и стесняет гражданскую свободу. «Задыхаемся». «Держи и не пущай». Раз я зашел в далекую улицу, панель — деревянная, и бредет мне навстречу пьяная баба. Только у нее, должно быть, тесемки ослабели, и подол спереди был до земли. Как она все «клюкала» вперед, то и наступала на подол. Он ее задерживал, и в досаде она поддергивала (его) вверх. Но юбка отделилась от кофты, и она, не замечая, дергала сорочку. Дальше больше: и я увидел, что у нее пузо голое. Юбку совсем она «обступала» книзу, и она сползла на бедра, а рубашку вздернула кверху. От омерзения я вскрикнул стоявшему тут же городовому:

— Что же ты, братец, смотришь: отведи ее домой или в участок.

Сделав под козырек действ. стат. советнику (Кус.), городовой отвечал:

— Никак нет-с, ваше высокоблагородие. Нельзя-с. Она сама идет, и я не могу ее взять, потому нам приказано брать только если пьяный лежит.

Кусков никогда не выезжал (до отставки) из Петербурга, и это было в столице.

Минувший год мы ездили с мамой к Романовым, — на Б. Зеленину. И, проезжая небольшую площадку, кажется, у Сытного рынка (Петерб. сторона), — в 1 час дня, — в яркий солнечный весенний день, — я вскрикнул и отвернулся.

Тотчас же взглянула туда жена.

— Молоденькая, лет 18 (сказала).

Vis-à-vis стояла толпа. Рассеянно, не нарочно. Парни, женщины.

И против них эта «18-ти лет» подняла над голыми ногами подол «выше чего не следует» и показала всем.  
Столица.

(насколько мелькнуло лицо — не видно было,  
что бы это была проститутка).



Все что-то где-то ловит: — в какой-то мутной водице какую-то самолюбивую рыбку.

Но больше срываеться, и насадка плохая, и крючок туп.  
Но не унывает. И опять закидывает.

·(рыбак Г. в газетах).



Стиль есть душа вещей.



Уж хвалили их, хвалили...  
Уж ласкали их, ласкали...

(революционеры у Богучарского и Глинского).



...дураки этакие, все мои сочинения замешены не на воде и не на масле даже,— а на семени человеческом: как же вам не платить за них дороже?

(на извозчике) (первое естественное восклицание,—  
затерявшееся; и потом восстановленное лишь в  
теме в «Оп. Лист.»).



Мамочка не выносила Гоголя и говорила своим твердым и коротким:

— Ненавижу.

Как о духовенстве, будучи сама из него, говорила:

— Ненавижу попов.

— Отчего вы, Варвара Дмитриевна, «ненавидите» священников?

Не торопясь:

— Когда сходят с извозчика, то всегда, отвернув в сторону рясу, вынимают свой кошелек и рассчитываются. И это «отвернувшись в сторону, как будто кто у них собирается отнять деньги,— отвратительно. И всегда даст извозчику вместо «5 коп.» этот... с особенным орлом и старый «екатерининский» пятак, который потом не берут у извозчика больше, чем за три копейки.

— А Гоголя почему?

Она не повторяла и не объясняла. Но когда я пытался ей читать что-нибудь из Гоголя, которого Саша Жданова (двоюродная ее) так безумно любила, то, деликатно переждав (пока я читал), говорила:

— Лучше что-нибудь другое.

Это меня поразило. И на все попытки оставалась деликатно (к предлагавшему) глуха.

«— Что такое??!! Гоголь!!!» — Я не понимал.

Нередко она сама смеялась своим грациозным смехом, переходившим в счастливейшие минуты в игривость,— небольшую и короткую. Все общее расположение души было деликатное и ласковое (тогда), без тени угрюмости (тоже тогда). Она не анализировала людей и, кажется, не позволяла себе анализировать. «Я еще молода» (26 или 28 лет). Все отношение к людям чрезвычайно ровное и благорасположенное, но без пристрастий и увлечений. В сущности она жила как-то странно: и — «не от мира сего», и — «от сего мира». Что-то среднее, промежуточное. Впереди — ничего; кругом — ничего; позади — счастливый роман первого замужества, тянувшийся года четыре.

Муж медленно погибал на ее глазах от неизвестной причины. Он со страшной медленностью слепнул, и, затем, коротко и бурно помешавшись — помер. «Мне сшили тогда траурное все, но я не надела, и как была в цветном платье — шла за ним» (на кладбище; не имела сил переодеть).

Это цветное платьице за гробом осталось у меня в душе.  
«Отчего она не любит Гоголя? Не выносит».

Со всеми приветливо-ласковая, она только не кланялась Евлампие Ивановне Свой, жене законоучителя и соборного священника.

— Отчего?

— Она ожидает поклона, и я делаю вид, что ее не вижу.

За исключением этих, очень гордых, которых она обходила, она со всеми была «хорошо». Очень любила родственниц, которые были очень хороши: Марью Павловну Глаголеву, Лизу Бутыгину (†), подругу ее детства, дяденьку Димитрия Адриановича.

К прочим была спокойна и, пожалуй, равнодушна. Мать уважала, почитала, повиновалась, но ничего особенного не было. Особенное пробудилось потом,— в замужестве со мною.

Отчего же она не любит Гоголя? и когда читаешь (ей) — явно «пропускает мимо ушей». «Почему? Почему?» — я спрашивал.

— Потому что это мне «не нравится».

— Да что же «не нравится»: ведь это — *верно*, Чичиков, например?

— Ну, и что же «Чичиков»?..

— Скверный такой. Подлец.

— Ну и что же, что...

Слова «подлец» она на выговаривала.

— Ну, вот Гоголь его и осмеял!

— Да зачем?

— Как «зачем», когда такие бывают?!

— Так если «бывают» — вы их не знайте. Если я увижу, тогда и... скажу «подлец». Но зачем же я буду говорить о человеке «подлец», когда я говорю *с вами*, когда мы *здесь*, когда мы что-нибудь читаем или о чем-нибудь говорим, и — слово «подлец» на ум не приходит, потому что вокруг себя я не вижу «подлеца», а вижу или обычных людей, или даже приятных. Я не знаю, к чему это «подлец» относится...

Я распространяю более короткую речь и менее мотивированную. Она упорно отказывалась читать о «подлецах», не понимая или, лучше сказать, осознательно и, так сказать, к «гневу своему» не видя, к чему это относится и с чем это связать.

У нее не было гнева. Злой памяти — не было.

Скорей вся жизнь,— вокруг, в будущем, а более всего в прошлом,— была подернута серым флером, тоскливым и остро-печальным в воспоминаниях.

Чуть ли даже она раз не выговорила:

— Я ненавижу Гоголя потому, что он смеется.

Т. е. что у него есть существо смеха.

Если она с Евлампией Ивановной не кланялась, то не прибавляла к этому никакого порицания, и тем менее — анекдота, рассказа, сплетни. И «пересуживание» кого-нибудь я от нее потом и за всю жизнь никогда не слыхал, хотя были резкие отчуждения, и раза два полные «раззнакомления», но всегда вполне без слов (с Гамбургерами).

Я понял тогда (в 1889 и 1890 г.), что существо смеха Гоголя было несовместимо с тембром души ее,— по серебристому и чистому звуку этого тембра, в коем (тембре) было совершенно исключена грязь и выкрик. Ни сора как зрелица, ни выкрика как протеста — она не выносила.

Я это внес в оценку Гоголя («Легенда об инквизиторе»), согласившись с нею, что *смеяться* — вообще недостойная вещь, что смех есть низшая категория человеческой души. Смех «от Калибана», а не «от Ариэля» («Буря» Шекспира).

Мамочка этого не понимала, да я ей и не говорил.

Позднее она очень не любила Мережковских,— до пугливости, до «едва сижу в одной комнате», но и тогда не сказала ни одного слова порицания, никакой насмешки или еще «издевательства». Это было совершенно вне ее существования. Поздней, когда и я разошелся с М-ми и на Дм. Серг. стал выливать «язвы»,— думал, она будет сочувствовать или хоть «ничего». Но и здесь, оттого что у меня смех состоял в «язвах», она не читала или была глуха к моим статьям (пробегала до  $\frac{1}{2}$ , не кончая), а в отношении их говорила:

— Не воображай, что ты их рассердил. Они, вероятно, только смеются над тобой. Ты сам смешон и жалок в насмешках. Ты злишься, что они тебя не признают, и впадаешь в истерику. Себе — вредишь, а им — ничего.

Так я и не мог привлечь мамочку к своей «сатире». И я думаю вообще, что «сатира» от ада и преисподней, и пока мы не пошли в него и еще живем на земле, т. е. в средних ярусах,— сатира вообще недостойна нашего существования и нашего ума.

Пусть это будет «каноном мамочки».



... >



«...да потому, что *ее* — это принадлежит *мне*». «А *его* — это принадлежит мне», — думает девушка.

На этом основаны соблазнения и свирепые факты.



Так устроено. Чтó же тут сделать? «Всякий покоряет обетованную ему землю».

(на обороте транспаранта).



Любовь есть совершенная отдача себя другому.

«Меня» уже нет, а «все — твое».

Любовь есть чудо. Нравственное чудо.



Развод — регулятор брака, тела его, души его. Кто захотел бы разрушить брак, но анонимно, тайно, скрыл «дело под сукно» — ему достаточно было бы испортить развод.

«Учение (и законы) о разводе» не есть учение только о разводе, но это то и есть *почти все учение* о самом браке. В нем уже все содержится: мудрость, воля. К сожалению, — «в нашем» о нем учении ничего не содержится, кроме глупости и злоупотреблений.



...как мелкий вор я выходил от Буре, спрятав коробочку с золотой цепочкой в карман (к часам L. Ademars N 10 165). У детей — ни нарядца, мама — больна: а я купил себе удовольствие, в общем на 300 р.

Вечером не сказал, а завтра перед завтраком: «Мамочка — я купил себе обновку». Все обрадовались. И мама. И дети. L. Ademars — первые часы в свете. Сделаны еще около 1878 года (судя по медалям выставок на специальном к этим часам патентике), и таких теперь больше нигде не приготовляется, а в истории делания часов этот мастер не был никогда превзойден. Часы — хотя им 30 лет почти — были очень мало в употреблении (вероятно, пролежали в закладе).— Оттого и купил, по случаю.



Задавило женщину и пятерых детей.

Тогда я заволновался и встал.

Темно было. И услышал в ухо: «Ты побалуйся и промолчи, а они потом (6) как знают».

Я отвернулся от огня и увидел, что и о «баловстве», и об «оставлении» шептал первый авторитет на земле.

Вот моя победа и моя история. Мог ли я не воскликнуть:  
— Я победил.



И увидел я вдали смертное ложе. И что умирают победители как побежденные, а побежденные как победители.

И что идет снег и земля пуста.

Тогда я сказал: Боже, отведи это. Боже, задержи.

И победа побледнела в моей душе. Потому — что побледнела душа. П. ч. где умирают, там не сражаются. Не побеждают, не бегут.

Но остаются недвижимыми костями и на них идет снег.



...я знаю, что изображаю того «гнуса литературы», к которому она так присосалась, что он валит в нее всякое д. . . . Это рок и судьба.

У меня никакого нет стеснения в литературе, п. ч. литература есть просто мои штаны. Что есть «еще литераторы», и вообще что она объективно существует,— до этого мне никакого дела.



Да, верно Христово, что «не от плоти и крови» родиться нужно, а «от духа»: я, собственно, «родился вновь» и в сущности просто «родился» — уже 35-ти лет — в Ельце, около теперешней жены моей, ее матери 55-ти лет и внучки 7 лет. И, собственно, «Рудневы-Бутягины» (вдова-дочь) были настоящими моими «родителями», родителями *души моей*.

Помню, на камне, мы обменялись крестами: она дала мне свой золотенький помятый, я ей снял мой голубой с эмалью. И с тех пор на ней все этот мой голубой крестик, а на мне ее помятый.

И вошла в меня ее душа, мягкая, нежная, отзывчивая; в нее же стала таинственно входить моя (до встречи) душа, суровая и осуждающая, критикующая и гневная.

Она все суворела, делалась строже,— к порокам, недостаткам, к самым слабостям. Я же «прощал» все. Но я «прощал» тем счастьем, какое она принесла мне, а она суворела теми терниями, занозами, горечами, какие, увы, я принес ей.

Все-то целуешь у дам ручки (пример Полонского, «школа» Ф-с). Она так и вспыхнет:

— Чтó ты все облизываешься около дам.

Как противно. Действительно, противно: это в сущности гнусная манера мужчин «подходить к ручке». И до женитьбы я никогда этого не делал (не знал, что «бывает»), а после женитьбы — всегда (от хорошего настроения духа).

И я не мог отстать от этой гадости. И от многих таких же гадостей и сору. А ее это мучило и раздражало. Она говорила с достоинством:

— Ты не понимаешь моих чувств. Мне больно, что *ты себя унижаешь*, свое достоинство и свои 40 лет, облизываясь, как мальчишка...

Во мне «мальчишка» так и кипел (был этот дух)...

— И что на тебя будут смотреть *как на мальчишку* — это мне больно.

И — все.

Мне все казались добрыми, и С-ниха, и все. Потому, что я был счастлив. И счастлив от золотого ее креста.

Чего, я даже у С-ной целовал ручки, не подозревая, что это за «особа».



Весь торопясь, я натягивал сапоги, и спросил Надю: — «Не поздно ли?» — «Нет еще, половина одиннадцатого». — «Значит, опоздал! Боже мой. Ведь начинается в девять». — «Нет. В десять». В две минуты я надел нарядное платье (в церковь) и написав:

### За упокой души старицы Александры

взял извозчика за гривенник до Александра Свирского и уже был там.

Теснота. Духота. Подаяю: «Не поздно?» — «Нет». Кладу на бумажку гривенник. «И две свечки по пяти коп.». — И прошел к «кануну».

Первый раз за усопшего ставлю свечку «на канун». Всегда любил его, но издали, не подходя. Теперь я увидел дырочки для свеч в мраморной доске, и вставил свою. Поклонился и иду ставить «к Спасителю» о болящей.

Продираюсь. Потно, душно. Какая-то курсистка подпевает «Господи, помилуй», певчим. — «Буду ставить Спасителю свечки, — подумал. — Поможет». А задним умом все думаю о «кануне» и что написал

### «О упокоении души»...

Как о «упокоении души»? Значит, она есть... живет... видит меня, увы, такого дурного и грешного... да кто всему этому научил?

#### — Церковь.

«Она, пререкаемая, она — позоримая, о которой ругаются газеты, ругается общество, что «долги службы», что там «пахнет тулупом» и «ничего не разберешь в дьячке»...

Научила, о чем едва смел гадать Платон, и доказывал философскими извиваниями мысли. Она же прямо и дивно сказала:

— Верь! Клади гривенник! «Выну частицу», и душе будет легче. И она взглянет на тебя оттуда, и ты почувствуешь ее взгляда.

«Гривенник» — так осязательно. Как что две булки за гривенник — несомненно, близко, осязательно, как булка в булочной.



Неужели поверит, что ее постоянная молитва имела этот смысл:

- Отчего они меня не лечат?
- Вразуми их! — Укажи им.



В Мюнхене, в Наугейме (в Луге — и на Сиверской уже не было)... всегда это:

Пишу статью. Весь одушевлен. Строки черным бисером по белому растут и растут... Оглядываюсь... и раз... и два... и три:

— Она подымет глаза от акафиста и кивнет мне. Я улыбнусь ей:

— Чё, милая?!

И она опустит глаза на разорванные листочки «Всех скорбящих радости» — и читает.

У меня: недоумение, грусть. «Отчего она все читает один акафист?» И смутная тревога.

Кончит. И встанет. И начнет делать.

На вопрос (об акаф.):

— Меня успокаивает.

Она никогда не читала перед образом, на коленях. Всегда сидя,— почему-то даже не на кушетке, а на кровати. Не помню положения ног, но — не лежа. Скорей сжалась,— и молится, молится «Всех скорбящих радости».

В Луге уже не могла, и я читал ей. Она лежит на кровати, я стоял на коленях'на полу, но оборотившись так, что она видела — и я, «еще подвернувшись», тоже мог видеть — образ и перед ним зажженную лампадку.

— А по воскресеньям и накануне праздников — так это было хорошо. На старом (без употребления) подносе стоит ряд лампадок. Во все наливается масло. Это — в столовой, и стоят они с огоньками, как свечи «на кануне» в церкви...

И вот эти огоньки уже несутся (в руках) в разные комнаты, в спальню, в детские, в кабинет...

У нее *своей* комнаты (отдельной) никогда не было, и даже в сущности не было (годами) у нас спальни: на ночь вынимался из сундука (в прихожей) матрац, и устраивалась постель в моем кабинете.

(24 сентября).



Революции основаны на энтузиазме, царства — на терпении.



Революции исходят из молодого «я». Царства — из покорности судьбе.



Он был весь в цвету и красоте, женат на младшей из многочисленных сестер, недавно кончившей гимназистке, и пока находился в гостях у ее старшей сестры. Ее муж был старый кашляющий чиновник, собравшийся умирать.

Что у него не болело: печень, почки, сердце, кости. Он был желчен и груб, но с молодым зятем (т. е. с этим мужем сестры жены), о котором знал, что он революционер,— старался быть сдержаным и отмежевывался коротенькими:

— Не знаю-с...

— Как угодно-с...

— избегая речей и более связного разговора. Но жену свою, имея все права на нее, беспощадно ругал и был невыносимо груб, не стесняясь гостями и их революционерством.

Она вышла за него, лет 29, для детей и хозяйства, и вообще «исполнения женского назначения», когда ему было за 40. Теперь ему было за 50, но он представлял труху болезней, и от непереносимости состояния собственно и ругался.

Скоро он умер. И помня, что он все ругался, я спросил Петю (меньшого брата революционера), смиренно готовившегося стать учителем рисования. Он с недоумением выслушал мой негодующий вопрос:

— Нет, он не был худой человек. Ругался? — но оттого, что у него все болело. Последние недели перед смертью он все заботился, чтобы вдова его не осталась «ни при чем», и хотя он не дослужил до пенсии, но заблаговременно подал о ней прошение и представил свидетельства докторов. Да и имущество, правда бедное, укрепил за нею одной, чтобы не могли вмешиваться другие родственники. Нет, он был хороший человек и хороший муж. Если старый, — то ведь она же пошла за старого.

Володя сидел «в крестах», и жена носила ему обеды. Она была очень некрасива, как-то мужеобразна. Он же был удивительный красавец, высокого роста и стройный, с нежным лицом и юношеским голосом. Наконец, будучи сама без денег, она откуда-то раздобыла 1 000 р. и совсем высвободила его под «залог» этой тысячи.

Я видел их сейчас по освобождении. Она была так полна любовью, а вместе контраст его красоты и ее некрасивости был так велик, что она не могла более нескольких минут быть с ним в одной комнате. И я их не видел вместе, рядом, — разговаривающими.

Она только смотрела на него откуда-то, слушала из другой комнаты его голос. Но как-то избегала, точно в застенчивости, быть «тут».

Он был ласков и хорош, с нею и со всеми. Он был вообще очень добр, очень ласков, очень нежен и очень деликатен.

Он был прекрасный человек. И прекрасный с детства. Любимое дитя любимых родителей.

Это от него я услышал поразительное убеждение:

— Конечно, университет принадлежит *студенчеству*, потому что их большинство. И порядок, и ход дел в университете вправе устанавливать они.

Это на мое негодование, что они бунтуют, устраивают беспорядки и проч.

Сам, кончив отлично гимназию, он был исключен с медицинского факультета Московского университета, потому что

вместе с другими стучал ногами при появлении в аудитории Захарьина. Захарьин был аристократ и лечил только богатых, а Володя был беден и демократ, и хотел, чтобы он лечил бедных.

Поэтому (стуча ногами) он стал требовать у начальства, чтобы оно выгнало Захарьина, но оно предпочло выгнать несколько студентов и оставить Захарьина, который лечил всю Россию.

Он перешел в «нелегальные», потом эмигрировал. Потом «кресты» и, наконец,— на свободе.

Вскоре он бежал. Но еще до бегства случилась драма.

Посещая его жену, я всегда слышал ответ, что «Володя ушел». Из соседней комнатки вылезала какая-то в ватных юбках и ватной кофте революционерка, до того омерзительная, что я не мог на нее смотреть.

(устал писать). (Володя оставил свою жену, сблизился с еврейкой, которую я мысленно определил лукойшком; и которая, хоть жила с ним в одной комнатке, но его третировала, и он ужасно страдал. Рассказ его жены, как, уехав на берег моря, близ Риги, она слушала ночами рев волн,— осенью,— и была только с его портретом. Сравнение: революционеры живут для себя, а старые кашляющие чиновники все же живут для жен, ограничивая себя, терпя, не срывая цветочков — как этот Володя — с любви, а трудясь и заботясь о человеке, с которым связана судьба).



Год прошел,— и как многие страницы «Уед.» мне стали чужды: а отчетливо помню, что «неверного» (против состояния души) не издал ни одного звука. И «точно летел»...

Теперь — точно «перья» пролетевшей птицы. Лежат в поле одни. Пустые. Никому не нужные.



Не «мы мысли меняем как перчатки», но, увы, мысли наши изнашиваются, как и перчатки. Широко. Не облегает руку. Не облегает душу.

И мы не сбрасываем, а просто перестаем носить.

Перестаем думать думами годичной старости.



Хороша малина, но лучше был окурок. Он курил свернутые сосульки, и по кромке парника лежала где-нибудь коричневая сосуля — сухая (на солнышке), т. е. — сейчас закурить.

Мы ее с Сережей не сразу брали, а указав пальцем, как коршуны над курицей,— стояли несколько времени, мяукая:

— Червонцы.  
— Цехины.

Это было имя монет из «Тараса Бульбы» («рубли», конечно, не интересовали,— не романтично): но разыскав 1—2 таких сосули, садились не видно, под смородину, и, свернув крючок (простонародная курка) — препарировали добро, пересыпали туда, и по очереди — с страшным запретом два раза сплошь не затянутся *одному* — выкуривали табак.

Сладкое одурение текло по жилам. На глазах слезы (крепость и глубина затяжки).

Он был слаше всего — ягод, сахара. Женщины мы еще не подозревали. А ведь, пожалуй, это все — наркотики,— и женщины. Ибо отчего же в 7-8 лет табак нам был нужнее хлеба?



Да как же без *amor utriusque sexus\** обошлось бы дело? Как же бы мы могли начать относиться к *своим* (*noster sexus\*\** с той миловидностью, с тою ласковостью, с тою нежностью, с ка-кою обычно и *по природе* относимся к противоположному полу, к *alter sexus?..\*\*\** без чего нет глубины отношения, а без *amor nostri sexus* нет *закругленности* отношения. *Universali-ter debet amor mundi\*\*\*\**. Но тогда явно ласка должна простираться туда и — *сюда*. Таким образом, действительно удивительная приспособленность к этому *in natura regum\*\*\*\*\** — получает свое объяснение. *Организм индивидуума поразительно гармонизует, «созвучит», организму человечества.*

(к организованности человечества и к вопросу о всемирной гармонии).

\* Любовь обоих полов (лат.).

\*\* Наш пол (лат.).

\*\*\* Другому полу (лат.).

\*\*\*\* Вселенная обязана всемирной любви (лат.).

\*\*\*\*\* В природе вещей (лат.).



Некоторые из написанных обо мне статей были приятны,— и, конечно, я связан бесконечной благодарностью с людьми, разбиравшими меня (что бы им за дело?): Грифцов, какой-то Закржевский (в Киеве), Волжский. Но в высшей степени было неприятно одно: никакой угадки меня не было у них. Тогда как Байрон «взлетел куда-то». Тогда — как «сатана», черный и в пламени. Да ничего подобного: добрейший малый. Сколько черных тараканов повытаскал из ванны, чтобы, случайно отвернув кран, кто-нибудь не затопил их. Чужковский был единственный, кто угадал (точнее — сумел назвать) «состав костей» во мне, натуру, кровь, темперамент. Некоторые из его определений — поразительны. Темы? — да они всем видны, и, по существу, черт ли в темах. «Темы бывают всякие», — скажу я на этот раз цинично. Но он не угадал моего интимного. Это — боль; какая-то беспредметная, беспричинная, и почти непрерывная. Мне кажется, это самое поразительное, по крайней мере — необъяснимое. Мне кажется, с болью я родился; первый ее приступ я помню задолго до гимназии, лет 7-8: я лежал за спинами семинаристов, которые, сидя на кровати и еще на чем-то, пели свои «семинарские песни». Я лежал без всякого впечатления, или с тем — «как хорошо», т. е. лежат и что поют. Вдруг слышу строки:

И над Гамбиею знойной,  
Там, где льется Сенегал...

по смыслу выходило, что «над этими местами» пролетает сокол куда-то, к убогой подруге своей, или вообще к какой-то тоске своей. Напев был, правда, заунывный, но ведь слыхал же «вообще заунывность» я и ранее. Скорее меня обняло впечатление пустынности и однотонности, пожалуй — невольной разлуки. Но едва звуки коснулись уха, как весь организм мой, весь состав жил как-то сжался во мне: и, затаивая звуки, в подушку, и куда-то, я вылил буквально потоки слез; мне сделалось до того тоскливо, до того «все скучно», дом наш, поющие, мамаша, о братьях и играх — не говорю: и явился тайный порыв «быть с этим соколом», конкретнее — объяла такая тоска об этом соколе, с которым я, конечно, соединял «душу человека», «судьбу человека», что я плакал и плакал, долго плакал...

В другой раз это случилось в 4-м классе гимназии: умер Димитрий Степанович Троицкий, нижегородский врач «для сапожников» (лечил одну бедноту), образованный человек,

и странным образом — мой друг, говоривший со мною о Локке, Маколее, английской революции и проч., и вместе страдавший (форменная болезнь) запоем. Умер и похоронили. Он был братом жены моего брата Коли. Как хоронили, как несли,— ничего не помню. Но вот я стою в моей полутемной комнатке, переделанной из кухни. Тут печальная и сестра покойного, тоже очень любившая брата, и мой брат, очень его уважавший. В минуту, как я остался один, я опять — от мысли о своем *теперь* одиночество — разразился такими рыданиями, длившимися едва ли менее  $\frac{1}{2}$  часа, от которых ни я и никто не мог меня остановить. Это было что-то судорожное, и проникнутое такой горечью и отчаянием, как я не помню,— состояние души было до такой степени страшное, черное,— точно вот имело цвет в самом деле,— как не умею выразить. Ни его мать, ни сестра — ничего подобного не плакали.

Это были *мистические слезы* — иначе не умею выразить; думаю, это определение совершенно верно. Состояние было до того тяжелое, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, «состав» не выдержит.



Это примыкает к *боли*. Боль моя всегда относится к чему-то *одинокому*, и чему-то *больному*, и чему-то *далекому*; точнее: что я — одинок, и оттого, что не со мной какая-то даль, и что эта даль как-то болит,— или я болю, что она только *даль*... Тут есть «порыв», «невозможность» и что я *сам* и *все* «не тó, не тó»...



Ничто так не обижало во мне «человека» в детстве, как что не дозволяли ходить в погреб за квасом «самому».

— Ты не заткнешь втулку хорошо. И квас станет утекать. Вот пойдут большие — пойдешь и ты.

И я ждал. Час. Два. Жажды томит. Квас манит. И почему я «не воткну втулку крепко»? Воткнул бы.



«Кнут» Фл<sup><оренского></sup> как-то месяцы жжет мне душу; «ц<sup><ерковь></sup> бьет кнутом, п. ч. иначе стало бы хуже». Но она не только «бьет кнутом», но иногда и «очищает карманы брата своего», как случилось с 200 священниками домовых церквей в Петербурге. Не понимаю, почему в *сем-то случае* «стало бы хуже»; а по «сему случаю» заключаю, что и в *тех случаях* бьет «кнутом» не по заботливости о хорошем, а по глупости, если только еще не хуже...



Неужели этот энтузиаст ц. станет реформатором? п. ч. лет-то через 20 он рассмотрит, что не всегда «для лучше», а иногда и «в мошну», и «в чрево», да и просто «не любим никого».

(Фл., защищающий каноническое право и строгости церковные; развод, эпитими разведенных и внебрачные дети).



Все мои пороки мокрые. Огненного ни одного.

Ни честолюбие, ни властолюбие, ни зависть не жгли мне душу.

Как же мне судить тех, кто не умеет совладать с огненными пороками (а я их сужу), когда я не умел справиться со своим мокреньким.



Книга должна быть дорога. Книга не кабак, не водка и не гуляющая девушка на улице.

Книга беседует. Книга наставляет. Книга рассказывает.

Книга должна быть дорога.

Она не должна быть навязчива, она должна быть целомудренна.

Она ни за кем не бегает, никому не предлагает себя. Она

лежит и даже «не ожидает себе покупателя», а просто лежит.

Книгу нужно уметь находить; ее надо отыскивать; и, найдя — беречь, хранить.

Книг не надо «давать читать». Книга, которую «давали читать» — развратница. Она нечто потеряла от духа своего, от невинности и чистоты своей.

«Читальни» и «публичные библиотеки» (кроме императорских, на всю империю, книгохранилищ) и суть «публичные места», развращающие города, как и дома терпимости.



Всем великим людям я бы откусил голову. И для меня выше Наполеона наша горничная Надя, такая кроткая, милая и изредка улыбающаяся.

Наполеон совершенно никому не интересен. Наполеон интересен только дурным людям (базар, толпа).

(на почтовой расписке).



Больная раком, она сидела вся кокетливая у нас за чаем. Сестра ее сказала ей, будто 30 лет назад я был в нее влюблен; тогда мы не были знакомы, и теперь она заехала с сестрою к нам показаться тому, кто «когда-то был влюблен в меня».

Но это ошибка. Только проходя по Комаровской улице (Брянск), я видел маленький домик «К-ких», и видел в окно, как «они все пьют чай». Тогда она была худенькая, деликатная, если не красивая, то почти красивая. Она была такая скромная, что я, пожалуй, был «почти влюблен». Сестра ее была тогда гимназистка. Тогда они были «молодожены», и детей у них еще не было. Он — военный, служил в арсенале. Теперь он седой генерал.

И она сидела и смеялась. У нее отняты обе груди, и «вынуто все под мышками» и «тут» (на боку) — почти до костей. Сестра — хирург, и все «снимала» и «снимала» постепенно.

Никакого несчастья я не видел на лице. «Мне еще бы прожить 6 лет, чтобы младший (12-ти лет) поднялся», — передавала ее слова сестра и приятельница (в то время) нашего дома.

Она была и теперь видная. 40 лет. Приятный белый цвет

лица и что-то «неуловимо-пластическое», чем нравятся женщины.

(объявление о «†» в «Нов. Вр.» 3—4 октября 1912 г.).

Вечная память. Хоть мимолетно встретились — но вечная память ей.

(1913 г.)



Иногда кажется, что я преодолею всю литературу.

И не оттого, что силен. Но «Господь со мною». Это так. Так. Так.

(за упаковкой в дорогу).



Левые «печатники» и не догадываются, что им дают ругаться — как пьяным, или ораторствовать — как провокаторам на сходке.

(смысл русской свободы).



Объяснение особой ревности стариков.

Je ne puis pas tout à fait\*.

И остаются вздохи, звезды, распустившиеся цветы и...

Бедный берет розу и обоняет:

Но это — как рисовали 20 лет назад старого толстого францисканца, поднесшего к носу розу:

— Червяк!!

«Человек съел жабу» и в бешенстве убивает того, кто вложил жабу в розу.

\* Я совсем не могу (франц.).

Поневоле станешь подозревать, следить, запирать на ключ.  
«Вечная опасность вместо вина напиться уксуса». С ума сведет.

Бедные очень страдают.

Но тут есть *corrigenda*\*. Лет 20 назад мне пришлось выслушать странный рассказ, когда средних или чуть-чуть пожилых лет сватался к совсем молоденькой, и, ввиду разности лет, говорил:

— Вы можете жить с кем угодно; но только выйдите за меня замуж. Я хочу быть вашим мужем и около вас, а стесняться я вас ни в чем не стану, и сам не буду вам навязываться.

Я не обратил внимания на рассказ, пока, на похоронах еврейки (жена Цынамгварова, грузина), молоденькая «проводившая», с которой на пролетку я сел от усталости (дождь, грязь), на мои расспросы о ней — сказала:

— Я на зубоврачебных курсах.— Нет, замужняя.— Буду зарабатывать сама хлеб.— По окончании гимназии, я поехала в Златоуст и вышла замуж за офицера.— Молодого.— Оказалось, пьет ужасно. Но не от этого я ушла, а он говорил мне: «Что ты просишь у меня все на хозяйство (денег), я же тебя оставляю глаз на глаз с товарищами, у которых есть средства, и ты всегда можешь быть при деньгах».— Ну, этого я не могла вынести. И ушла.

Тогда мне объяснилось и «предложение» на условиях свободы. Но просящее — «будь моей женой, около меня».

Конечно, бедняк последний «рвал бы волосы на голове» при мысли об измене. И тут дело вовсе не в том, чтобы «были карманные деньги». Деньги скорее — предлог, оправдание и «введение»... «Все, как будто у всех». Но тонкая личная струя здесь вводит в понимание архаичнейшей формы семьи — полигандрии, которая основана главным образом не на инстинкте женщин, а на странном вкусе мужей к «червяку» и «жабе».

Мне один извозчик (ехал в редакцию, к ночи) сказал о своей деревне (Новгородской губернии), — на слова, будто «деревенские девушки или женщины легко отдаются, рубля за 3» (слова мне А. С. Суворина, о поре своей молодости).

— Зачем девушки. Замужние. У нас на деревне всяка за 3 рубля (отдастся). Да хоть мою жену захочет кто взять.

\* Поправка, опечатка (лат.).

Я даже испугался. Так просто. Он был красавец, с небольшими усиками, тонкий. Молодой. Лет 27-ми.

И не поперхнулся. Ни боли, ни стыда. И значит — никакой ревности.

Кстати, принципиальный вопрос Флоренскому, священникам и профессорам церковного права: должен ли быть расторгнут, т. е. должна ли церковь расторгнуть брак в случае «зубодерки», т. е. когда муж просит жену отдаваться, а она, чувствуя отвращение к таким отношениям и гнусность ко всему этому типу семьи, нося в сердце идеал лучшей семьи — просит церковь освободить ее от неудачно заключенного брака и дать разрешение на вступление в новый?

Есть ли это «прелюбодеяние»? Пока — нет. Т. е. церковь, «комментируемая и изъясняемая духовенством», единственным судиею сего «своего дела», — признает таковой брак расторжению не подлежащим. «Ни свидетелей», «ни жалобы мужа», «ни — измены мужа». Жена не может сказать: «муж мне изменяет», да он и не изменяет. А она? Да и она может не изменять. Какой же повод к разводу, формальный? И церковь сохраняет и приказывает сохранять такой чудовищный брак, около которого случайное «прелюбодеяние» мужа или жены, «прелюбодеяние» по налетевшей буре любви, кажется чем-то невинным и детским.

От кого же, господа духовные, идет развал семьи, от вас или от «непослушных жен», как вы традиционно и лениво жалуетесь? От вас, по-моему, по факту. И кто оскорбляет таинство брака? Ваш грязный взгляд на дело, ваши грязняющие брак законы. С «червем» и «жабою».

Да: на т. св. дадут вам покушать за отношение к семье и к семейным людям «червяка» и «жабы».

К разговору с извозчиком:

Толстой (такой ревнивый вообще и поощряющий ревность) гениально подметил это спокойствие крестьян к началу полиандрии:

— Дурак. Я сапогов не захватил.

Любовник прыснул от жены: и муж только жалел, зачем,

«вспугнув» их с места, он не догадался предварительно взять сапоги его, тут же стоявшие.

Муж вернулся после отлучки. Узнав про любовь жены, он побил ее и все, что следует, и не лег с нею спать, а полез на печь. Жена среди ночи встала и пришла к нему. Он еще был сердит, и не хотел пускать. Но она облила его такими нежными словами. У Толстого это удивительно. Муж взял ее. И он все забыл; и она все забыла. Это и есть «полиандрия» в древности и сейчас.

(рассказ об этом в «Посмертных сочинениях» Толстого; заглавие забыл).



Я смотрел на Леву с такою завистью к его росту, к его красотости, к его достоинству.

Он был III-го класса, и я не знал, могу ли к нему подойти поздороваться потом (когда всенощная кончится).

Я был I-го или II-го класса, карапузик. Он обыкновенно ходил с толстой палкой (самодельщина) и мог меня побить, мог всех побить.

Слушал пение (в арке между теплой и холодной церковью). Красиво все. Рассеянность. И будто потянуло что-то.

Я обернулся.

За спиной, шага на  $1\frac{1}{2}$ , стояла мамаша и улыбнулась мне. Это была единственная улыбка за всю ее жизнь, которую я видел.

(в Покровской церкви, в Костроме, 1868 или 1869 год)  
(прислонясь к стене на Итальянской ул.).



Пересматриваю академическое изд. Лермонтова. Хотел отыскать комментарии к «Сашке». Не нашел (какая-то лапша издание). «Может, в I т.? Ищу и вижу на корешке IV, II, V, III. «Где же первый? Не затерялся ли?» С тревогой ищу I. Вижу только 4 книги. «Затерялся». Еще тревожнее, и вижу, что я аккуратнейше и внимательно надписал на «бумажке обертки»: «Выпуск второй», «Выпуск третий», «четвертый» и «пя-

тый» под печатным: «Том первый», «второй», «третий», «четвертый». Каким образом я, внимательно надписывая (радость о покупке) нумерацию томов, мог не заметить, что подписываю неверно под тут же (на обложке!) напечатанными «первый», «второй», «третий»? Значит, я рассматривал и не видел. Это сомнамбулизм, сон. И в первый раз прошло извинение о болезни мамы, которое мучило все лето: «что же мне делать, если я ничего не вижу», «родился так», «таким уродом». Это фатум бедной мамочки, что она пошла за Фауста, а не за колл. асессора. Это все-таки грех и несчастье, но — роковое.

Сколько, сидя над морем, на высокой горе, я с бумажкой в руке высчитывал процентные бумаги. Было не то 16, не то 18 тыс., и обеспечения детей не выходило. Я перестраивал их так и иначе: «продать» один и «купить» другие. Это был год, когда она была так мрачна, печальна и раздражительна. Я мучился. Зачем же я просиживал? Если бы я также вдумался в состояние души ее, т. е. вдруг затревожился, отчего она тревожна,— я бы разыскал, также бы стал искать, думать, также бороться душою с чем-то неопределенно дурным, и попал бы на след, и, в конце концов, вовремя разыскал бы и позвал Карпинского. И она была бы спасена.

То, что я провозился с деньгами, нумизматикой и сочинениями, вместо здоровья мамы, и есть причина, что пишу «Уедин.». Ошибка всей жизни.



Так мы каркаем бессильно, пройдя ложный путь.



Нет, чувствую я, предвижу,— что, не пристав здесь, не пристану — и туда. Что же Новоселов, издав столько, сказал ли хоть одно слово, одну строку, одну страницу (обобщим так, без подчеркивания),— на мои мучительные темы, на меня мучащие темы. Неужели же (стыдно, мучительно сказать) им нужны были строки мои, а не нужна душа моя, ну — душа последнего нищего, отнюдь не «писателя» (черт бы его побрал). Поверить ли, что ему, Кожевникову, Щербову не нужна душа. Фл-ский промолчит, чувствуя, что промолчит. «Неловко», да «и зачем расстраивать согласие»,— в сущности «хорошую

компанию». Н-в о своей только сказал: «Царство ей небесное, ей там лучше» (в письме ко мне). А о папаше как заботился, чтобы не «там было лучше», а и «здесь хорошо». Но — жонкам христианским вообще «там бы лучше», а камилавки и проще — «нам останутся» и «износим здесь», или — «покрасуемся здесь»... Что же это в конце концов за ужасы, среди которых я живу, ужаснее которых не будет и светопреставление. Ибо это — друзья, близкие, *самые лучшие встреченные люди*, и если нет у «которых — тепло», то где же еще-то тепло? И вот пришел, к ним пришел — и... пожалуй, «тепло», но в эту специальную сторону тоже холодно и у них. А между тем особенность судьбы моей привела искаль и стучаться, стучаться и искать — тепла специально в этой области. Что же Фл-ский написал о Н: «кнут» и «нужно промолчать». Какое же это решение?

Неужели же не только судьба, но и Бог мне говорит: «Выйди, выйди, тебе и тут места нет?» Где же «место?» Неужели я без «места» в мире? Между тем, несмотря на слабости и дурное, я чувствую — никакого «каинства» во мне, никакого «демонства», я — самый обыкновенный человек, простой человек, я чувствую — что хороший человек.

Умереть без «места», жить без «места»: нет, главное — все это *без малейшего желания борьбы*.



— Ребенок плачет. Да встань же ты. Ведь рядом и не спиши.  
— Если плачет, то что же я? Он и на руках будет плакать.  
Пожалуй, подержу.

(отчего семьи разваливаются;  
первая Надя).



Она была так же образована, как и другая, которая (я и не заметил, она потом при случае сказала):

— Когда я брала кормилицу (своего молока не было,— от того же, но мы и доктор не понимали) и деньги шли на то, что я бы должна выполнить, то я тогда отпускала прислугу и сама становилась к плите.

(отчего семьи крепнут; наша мама)  
(15 октября).



Ах, Бехтерев, Бехтерев,— все мои слезы от вас, через вас...

Если бы не ваш «диагноз» в 1896 (97?)-м году, я прожил бы счастливо еще 10 лет, ровно столько, сколько нужно, чтобы оставить детям 3600 ежегодно на пятерых,— по 300 в месяц, что было бы уже достаточно,— издал бы чудную свою коллекцию греческих монет, издал бы Египет (атлас с объяснениями), «Лев и Агнец» (рукопись), и распределил и сам бы издал книгами отдельные статьи.

(начало октября).



Желание мое умереть — уйти в лес, далеко, далеко. И помолиться и умереть. Никому ничего не сказав.

А услышать? О, как хотелось бы. Но и как при жизни — будет все «с недоговорками» и «уклонениями». А те чужие, болтуны — их совсем не надо.

Значит, и услышать — ничего.

(глуб. ночью).



Холодок на сердце. Знаете ли вы его?

(в печали).



В 57 лет Бог благословил меня дружбой Цв(еткова).

(в печали) (октябрь 1912).



Как люблю его. Как уважаю.



Если бы Бехтерев увидел нашу мамочку, лежащую на кушетке, зажав левую больную руку в правой...  
Но не увидит. Видит муж.



У них нет сердца. Как было не спасти, когда он *знал по науке*, что можно спасти, есть время и не *упущено еще* оно.



Знаю, физика: левая холоднее правой, и она ее постоянно греет. Но этот *вид* прижатых к груди рук — кулачок в кулачке — как он полон просьбы, мольбы и... безнадежности.

И все он передо мной, целые дни. Повернешь голову назад, подойдешь к стулу сесть, пройдешься по комнате и обратно пойдешь *сюда*: все сжатые кулачки, все сжатые кулачки. Дни, часы, каждый час, все месяцы.

(зима 1912 г.)



Нагими рождаемся, нагими сходим в землю.  
Что же такое наши одежды?  
Чины, знатность, положение?  
Для прогулки.



День ясный, и все высыпали на Невский. Но есть час, когда мы все пойдем «домой». И это «домой» — в землю.

(октябрь).



Как не целовать руку у Церкви, если она и безграмотному дала способ молитвы: зажгла лампадку старуха темная, старая и сказала: «Господи помилуй» (слыхала в церкви, да и «сама собой» скажет) — и положила поклон в землю.

И «помолилась» и утешилась. Легче стало на душе у однокой, старой.

Кто это придумает? Пифагор не «откроет», Ньютон не «вычислит».

Церковь сделала. Поняла. Сумела.

Церковь научила этому всех. Осанна Церкви, — осанна как Христу — «благословенна Грядущая во имя Господне».



...да, шулер —

ударил по сердцам с неведомою силой.

Интересна история нашей литературы.

(у Гершензона об Огаревой,  
как ее обобрали старуху).



...>



В 1904-5 г. я хотел написать что-то вроде «гимна свободе»... Строк 8 вышло, — но больше жару не хватило: почувствовал, что загнуло в риторику... А теперь!..

...бежать бы как зарезанная корова, схватившись за голову, за волосы, и реветь, реветь, о себе реветь, а конечно не о

том, что «правительство плохо» (вечное extemporalia\* о словах).

(октябрь).



- Какое безобразие ваши сочинения.  
— Да. Но все пытит в работе.



«Христианство и не зá пол, и не прóтив пола, а перенесло человека совершенно в другую плоскость».

(Флор.).

— Хозяин нé против ремонта дома и не зá ремонт: а занимается библиографией.

Мне кажется — дом-то развалится. И хотя «библиография» не противоречит домоводству: однако его съедает.

Вопрос о браке ведь в каждой семье, у меня, у вас (будет). Томит дни, ночи, постоянно, всякого. Как же можно сказать: «Я никому не запрещаю, а только ухожу в Публичную библиотеку заниматься рукописями».

(8 октября).



Неужели Пушкин виноват, что Писарев его «не читал». И Церковь виновата, что Бюхнер и Молешотт «ее не понимали», и христианство виновато, что болтаем «мы».



Страшно, когда наступает озноб души... Душа зябнет.

\* Учебное упражнение (лат.).



— Вася, ты уйди, я постою.  
— Стонай, Варя, при мне...  
— Да я тебе мешаю.  
— Деточка, кто же с тобой останется, если и я уйду?  
Да и мне хочется остаться...

(Когда Шура вторично ушла, 23 октября; на счете по изданиям).



Все-таки я умру в полном, в полном недоумении. В религиозном недоумении.

И больше всего в этом Фл. виноват. Его умолчания.  
С Б. я никогда не расстанусь. Но остальное...



Ожидаемые и желаемые и высматриваемые качества митрополита Петербургского — скромность.

Ученость — хорошо, святость — прекрасно, подвиг жизни и аскетизм — превосходно: но выше всего скромность.

Молчаливость, тихость и послушание.

Если при этом хороший рост, мелодичный голос и достоинство манер и обращения — то такому «кандидату» не страшен был бы соперником, и Филарет, и Златоуст, и «все три Святителя».

(28 октября перед  $\dagger$  митр. Антония за вечерним чаём думаю).



Полуискренность — она сопутствует теперь всем делам церковным.

Ошибаются, кто говорит о неискренности. Ему сейчас укажут патетический голос, великий восторг, умиление, преданность.

Но не допрашивайте эту патетичность: щеки ее поблекнут, язык начнет путаться. Все пойдет в маленькую уклончивость и умолчание.

Все теперь — в «полу»... нигде — «полного»...

(тоже, перед + митр. Антония).



Даже если будет все это место полно червями и тлением — я останусь здесь.

С глупыми — останусь. С плутами — останусь.

Почему?

Здесь говорят о бессмертии души. О Боге. О Вечной Жизни.

О Награде и Наказаниях.

Здесь — Алтарь. Воистину алтарь, один на земле.

И куда же мы все пойдем отсюда...

(перед кончиной митр. Антония.  
28 октября, ночь).



Может быть, другие не имеют права умереть *сами*, но я имею право умереть *сам*.



И Тиллинг, директор Евангелической больницы, когда «она там лежала» (опасное кровотечение,— на краю могилы), умер.

Ранее в Мюнхене, Наук где-то за границей, теперь вот Тиллинг (такой гигант был), еще раньше, виновный в кровотечении (велел массаж делать, не сняв швов), Рентельн — все + + + . И если Немезида...

Грех! Грех! Грех!!!

(28 окт. ночь).



В случае «если бы» — вот план для издания моих статей, еще не перепечатанных в книге:

1) *Около церковных стен*, III. Статьи о Церкви, об управлении ею, о духовных школах. Это все «в помощь попам», а отчасти в помощь нашему милому духовенству. Передольский хорошо его звал «Божьей родней». Оно — и есть таково: через 1000 лет пронесло и сохранило не колеблясь идею Неба, идею Правды, идею Суда... Да помолится оно о несчастных рабах Божьих «Василии и Варваре». Свящ. Устьинский все время о нас молился. Спасибо ему, милому.

2) *«О писателях и писательстве»*. Тома на 4. Статьи о литературе. Есть предисловие к этой книге, очень одушевленно написанное где-то.— Сюда должны войти (в рукописях) неоконченные статьи «Паскаль», «Христианство и язык», «Фауст» <...>

4) *«Сумерки просвещения»* — вторым изданием, с дополнениями, а главное — с продолжением: *«В обещаниях дня»*: сюда собрать статьи, напечатанные в пору ломки и смуты школы и ее растерянности. Таким обр.: *«Сумерки просвещения»* — 1 т. *«В обещаниях света»*, 1 т. Все — целое. Это — милым гимназистам.

5) *«Семейный вопрос в России»*, том 3. Там одна статья: «В мире любви, испуганности и стыдливости».

Это — добрым страдалицам.

6) *«Эмбрионы»*. Из книг, из «Торгово-промышлен. газеты» («Из дневника писателя»), «Попутные заметки» (из «Нов. Вр.»), из «Гражданина». Это нужно издавать в формате «Уединенного», начиная каждый афоризм с новой страницы. Смешивать и соединять в одну книгу с «Уединенным» никак не нужно. «Уединенное» — без читателя, «Эмбрионы» — к читателю.

7) *«Германские впечатления»*. Наугейм, Мюнхен, etc.; сюда же, собственно, надо бы перенести из *«Итальянских впечатлений»* последний отдел: *«По Германии»*. И даже *«Германские впечатления»* (книжку) начинать с этих статей о Берлине и Кайзере-Вильгельме.

8) *«Кавказские впечатления»*.

9) *«Русский Нил»* (впечатления по Волге). Сюда внести и статьи под заглавием *«Израиль»* и *«В современных настроениях»* из *«Русск. Слова»* за 1907 г., №№ 194 и 200 (ибо это все *«Русский Нил»*, и только редакция переменила заголовки).

10) «Чиновник. Очерк русской государственности». Статьи из «Русск. Слова» и «Нов. Слова» о чиновничестве.

11) «В связи с искусством». Сюда внести статьи: «Молящаяся Русь» (о Нестерове), «Где же религия молодости», «Сицилианцы в Петербурге», «Из мыслей зрителя», «Гоголевские дни в Москве», «Памятник Александру III», «Отчего не удался памятник Гоголю», «Актер», «С. С. Боткин», «Памяти Комиссаржевской», «Театр и юность» и, может быть, «Танцы невинности» (о Дункан); «Зембрих».

12) «Литературные изгнанники». «Переписка с Леонтьевым» (с примечаниями) и «переписка с Рачинским» (с примечаниями). Письма ко мне милого Н. Н. Страхова (с портретом его,— худощавым, со сложенными руками и в саду,— снятым в Ясной Поляне после операции), письма ко мне Рцы (и портрет мой с Софой, крестницей), т. е. И. Ф. Романова, письма ко мне Шперка и портрет «Умирающий Шперк» (в Халиле, среди семьи: попросить выгравировать В. В. Матэ, адрес — в Академии художеств; гравюра обойдется рублей 200,— но, я думаю, за продажу это окупится), письма ко мне П. А. Флоренского (нужно спросить дозволения; адрес: в Троице-Сергиев Посад, Духовная Академия, Павлу Александровичу Флоренскому),— и Серг, Ал. Цветкова. Редактировать это издание могут П. А. Флоренский или С. А. Цветков. Адрес его: Москва, Остоженка, Молочный пер., д. 2, кв. 2.

13) «Древо жизни и идея скопчества». Статьи о поле,— из «Гражданина» и «Нов. Бр.» (особенно «Пол и душа»).

14) «Черный огонь». Статьи о революции и революционерах из «Нов. Врем.», «Русск. Слова» и «Нового Слова».

15) «Во дворе язычников». «Культура и деревня», «Древнеегипетские обелиски», «О древнеегипетской красоте», «Прорицатель Валаам» еписк. Серафима (библиогр. заметка), «О поклонении зерну» Буткевича — «Неверие XIX в.» (библиогр. заметка), «Афродита-Диана», «О лекции Влад. Соловьева», «Сказочное царство», «Восток» (подп. Орион), «Величайшая минута истории», «Занимательный вечер», «Маленькая историческая поправка», «Серия недоразумений (?)», «Чудесное в жизни и истории», «Тема нашего времени», «Эллинизм», «Демон Лермонтова в окружении древних мифов», «Атлантида — была», «Из восточных мотивов» (то же, что «Звезды» — заглавие это не мое, а редакции «Мира искусства»), и сюда прекрасный рисунок пером Бакста.

16) «Лев и Агнец». Громадная рукопись не оконченная, в несгораемом шкафе. Где места пропусков — просто заменить страницей многоточия. Это не нарушит смысла и связи. Редак-

ция пусть будет Флоренского, а если ему некогда — Цветкова, а если и ему некогда — подождать. Помня: «Дело не волк — в лес не убежит».



Встретился с Философовым и Мер<sup><ежковским></sup> в Рел.-фил. собр. Точно ничего не было. Почувствовал дружбу. А ругались (в печати), и они потребовали в «Рус. Сл.», чтобы или меня исключили, или они «выходят».

Даже «под зад» дал Фил-ву, когда он проходил мимо. Полная дружба. Как гимназисты.

Ужасно люблю гимназическую пору. И вечно хочется быть опять гимназистом. «Ну ее к черту, серьезную жизнь».



И когда сотрудничаю в газетах,— всегда с небольшим внутренним смехом,— всегда с этой мыслью: «Мы еще погимназистничаем».



И потому мне ровно наплевать, какие писать статьи, «направо» или «налево». Все это ерунда и не имеет никакого значения. «Шалости нижегородского гимназиста» (катались на Черном пруде).

(29 октября).



Зонт у меня Философова, перламутровый ножик (перочинный, прелестный) от Суходрева, теперь палка от Тычинкина. Она грязная (он).

— Тем лучше. Это в моем стиле.

У Фил. зонт был с дырочкой. Но такая прелестная палка, черная с рубчиками, не вертлявая (полная в теле) и необыкновенно легкая.

Эти декаденты умели выбирать необыкновенно изящные вещи. Простые и стильные.

(29 октября).



30 окт.

...уклончивость всех вещей от определения своего, уклончивость всех планет от «прямой»...

Что это?!!!

Ужасы, ужасы...



Может быть, она в том, что мир хочет быть «застегнут на все пуговицы» и не показать внутренних карманов ни репортеру, ни Ньютону.

Если *так* — еще можно успокоиться. «Темно. Не вижу». Это пусть и говорит косолапый Вий, ноги которого вросли в землю.

Но если *иное*?..

Что?

Не хочу даже сказать. Пугаюсь.

9

Все мои пороки были или мелким любопытством ума, — или «*так*», распустился», и, в сущности, беспричинны. Но мне никогда [порок] не «сосал под ложечкой» и не «кружил голову».



Поэтому «порочность мира», я знаю очень мало. И поэтому же, очень может быть, суждения мои о мире не глубоки. В огненных пороках раскрывается какая-то «*тá* сторона луны», которая ко мне никогда не повертывалась.

План «Мертвых Душ» — в сущности анекдот; как и «Ревизора» — анекдот же. Как один барин хотел скупить умершие ревизские души и заложить их; и как другого барина-прощалыгу приняли в городе за ревизора. И все пьесы его, «Женитьба», «Игроки», и повести, «Шинель» — просто петербургские анекдоты, которые могли быть и которых могло не быть. Они ничего собою не характеризуют и ничего в себе не содержат.

Поразительная эта простота, элементарность замысла; Гоголь не имел сил — усложнить плана; романа или повести в смысле развития или хода страсти — чувствуется, что он *и не мог бы представить*, и самых попыток к этому — в черновиках его нет.

Что же это такое? Странная элементарность души. Поразительно, что Гоголь и *сам не развивался*; в нем не перестраивалась душа, не менялись убеждения. Пересядя от малороссийских повестей к петербургским анекдотам, он только перенес глаз с юга на север, но глаз этот был *тот же*.

Недостаток Перцова заключается в недостаточно яркой и даже недостаточно определенной индивидуальности.

С сотворяя его, Бог как бы впал в какую-то задумчивость, резец остановился, и все лицо стало матовым. Глаза «не горчат» из мрамора, и губы никогда не закричат. Ума и далекого зрения, как и меткого слова (в письмах) у него «как Бог дай всячому», и особенно привлекательно его благородство и бескорыстие: но все эти качества заволакиваются туманом неопределенных поступков, тихо сказанных слов; какого-то «шуршания бытия», а не скакания бытия.

Но он «рыцарь честный», честный и старый (по чекану) в нашей низменной журналистике.

С ним в контрасте Рцы: которого *переделав* Бог — плюнул от отвращения, и отошел. И с тех пор Рцы все бегает за Богом, все томится по Боге, и говорит лучшие молитвы, какие знает мир (в себе, в душе).

Увы: литературно это почти ни в чем не выразилось. Он писал только об еде, о Россини и иногда об отцах Церкви. Теперь, бедный, умолк.

Что такое литературная душа?  
 Это Гамлет.  
 Это холод и пустота.

(укладываясь спать).



31 октября.

Мне не было бы так страшно, ни так печально, если бы не ужасы ясновидения. Но я живу как «в Провидении»: потому что за годы, за очень долгие годы,— все будущее было открыто ей в каких-то вещих тревогах.

Мы сидели в Кисловодском театре. Давали «Горе от ума». Ни хорошо, ни худо. И в котором-то антракте я обдумывал, нельзя ли склеить статью в «Н. Вр.» рублей на 70 (билеты — 6 руб., время — в нужде, довольно жесткой).

— Посмотри, Вася.

Я поднял голову и смотрел на спущенный занавес, изображавший наяд и героев.

— Не там, а выше.

Занавес спускался из арки, и на арке были изображены... должно быть, античные маски.

— Вон там, в углу... Такая ужасная... Когда я буду умирать, у меня будет такое лицо.

Это было искаженное ужасом и отчаянием лицо «трагической маски».

Я захолодел. Губы мои что-то бессильное шептали. И этот ее «внушающий» голос, полный убеждения, пугал меня даже потом, когда я просыпался ночью.

Несколько раз, когда я хотел и предлагал ей отдохнуть в санатории — (как было бы спасительно, определили бы при приеме болезнь), она отказывалась в каком-то трепетном страхе: как забившаяся в угол птичка, боящаяся оставить этот угол.

И все подозрительность. И все испуг.— «Вы хотите остаться без меня *одни*» (для дурного, легкомысленного). «Вы хотите *отвязаться от меня*»...

Я переставал говорить.

«— Как страшно... Мне тогда представляется, что меня везут в сумасшедший дом. И спущены занавески».

И она холодела. И я холодел. Центр ужаса находился, был в «спущенных занавесках».

А «занавески» в душе ее и в самом деле спускались. Она атомически, разрушительно отделялась от мира.

Моя страдалица. И опять говорила: «Я снова видела во сне Михаила Павловича. Так ясно. И он спрашивал: «Скоро ли ты, Варюнчик, придешь ко мне? Я жду тебя».

Это первый муж. С которого все и началось. И самая любовь наша началась с чудной элегии, в которой она рассказала о необъяснимой молодой гибели ее 1-го мужа. Она осталась вдовою 21-го года, с 2-х летней Саничкой и матерью.

,

Бог послал меня с *даром слова* и ничего другого еще не дал. Вот отчего я так несчастен.

»

Ничего так красиво не лежит на молодости, как бедность.  
Но без лицемерных «дыр»...  
Бедность чистоплотная.

»»

Душа моя как расплетающаяся нить. Даже не льняная, а бумажная. Вся «разлезается», и ничего ею укрепить нельзя.  
*(ночью на извозчике).*

»»»

Я вышел из мерзости запустения, и так и надо определять меня: «выходец из мерзости запустения».

Какая нелюдимость.

Вражда ко всем людям.

Нас не знали даже соседи, как не знали и мы соседей. Только разве портной в углу (рядом его хибарочки). Все нас дичились, и мы дичились всех.

Мы все были в ссоре. Прекрасная Верочка умерла так рано (мне лет 8-7), и когда умерла, то все окончательно заледенело, захолодело, а главное замусорилось. За все время я не помню ни одной заботы, и чтобы сам о чем-нибудь позаботился. Все «бродили», а не жили; и ни у кого не было сознания, что что-нибудь *должно делать*. Вообще слово «должно» было исключено из самого обихода, и никогда я его не слыхал до 14 лет, когда хоть услышал — «ты *должен* выучить урок» (и сейчас возненавидел «должен»). Все проводили дни (ибо «жили» даже нельзя сказать) по «как бы легче» и «как бы изловчиться». Только теперь (57 лет) я думаю, что Коля был прав, оставшись только 3 дня, и уехал молча и никогда не отвечал ни на какие письма. Он оценил глазом, образованием и опытом взрослого человека, что тут все мертвое, хотя и шевелится, и дышит. И воскресить ничего нельзя, а можно только утонуть возле этого, в связи с этим, распутывая это.

(лежа в постели ночью, вспоминаю детство,  
до 13 лет).

9999

Что такое «писатель»?

Брошенные дети, забытая жена, и тщеславие, тщеславие...  
Интересная фигура.

(засыпая).



1 ноября.

Церковь научила всех людей молиться.

Какое же другое к ней отношение может быть у человека, как целовать руку.

Хорошо у православных, что целуют руку у попов.

Поп есть отец. Естественный отец. Ведь и натуральные отцы бывают дурные, и мы не говорим детям — ненавидьте их, презирайте их. Говорить так — значило бы развращать детей и губить их душу и будущность. Вот отчего, если бы было даже основательно осуждать духовенство — осуждать его не следует.

Мы гибнем сами, осуждая духовенство. Без духовенства — погиб народ. Духовенство блудет его душу.

Что выше, любовь или история любви?  
Ах, все «истории любви» все-таки не стоят кусочка «сейчас любви».



Я теперь пишу «историю», п. ч. счастье мое прошло.

99

У Рцы «Бог прибрал» троих детей — Ваню, еще Сережу, еще... имена забыл. Сережа умер потом и отдельно. Но один за другим выносили три детских гробика, с Павловской, № 2, Ефимова, 2-й этаж.

Это было что-то чудовищное. Как вообще у человека «кости не ломаются» в таком несчастии? Он — недвижный, растерянный, она — вся в муке, и Гесс (докт.) говорил: «Который вот день (сутки) Ольга Ивановна не закрывает глаз» (мать).

И Елена Ивановна...

И вот перенесли что непереносимо. Что вообще нельзя перенести. Под чем кости хрустят, душа ломится. Как же они перенесли?

А как же бы они *не перенесли*? Остались жить. Бог «одних берет», других «оставляет»: и кого оставляет — «будет жить».

Хохота и прежде не было. Всегда была нужда. Теперь — часто тяжелая. Но тогда (на именинах Ольги Ивановны) был смех. Улыбка и теперь бывает. Не частая, но бывает. Говорят. Заботятся. Он читает все Апостола Павла. Перечитывает. Обдумывает. Вчитывается. Все его чтение — Апостол Павел и «Нов. Бр.» (обо всем,— текущий день), иногда «Богосл. Вестник».

Он лицеист (Москва). Умница. Страсть — Рембрандт и Россияни. Пишет. Но что-то «не выходит». Родился до книгопечатания и «презирает жить в веке сем». У него нет *rgaesens*, а все *perfectum* и *plusquamperfectum*. *Futurum\** яростно отвергает.

И живут.

Живут пассивно жизнью (после страдания), когда активная невозможна.

---

\* Настоящее... прошедшее, давнопрошедшее. Будущее (лат.).

Вот отчего нужно уважать старость: что она бывает «после страдания».

Этого нам в гимназии в голову не приходило.

999

Священное слово.

Зависимость моя от мамочки — как зависимость безнравственного или слабо нравственного от нравственного.

Она все ползет куда-то, шатается, склоняется: а все назад оглядывается.

И эта всегдашняя забота обо мне — как Провидение. От того мне страшно остаться одному, что я останусь без Провидения\*

Ни — *куда* пойти.

Ни — *где* отдохнуть.

Я затеряюсь, как собака на чужой улице.

9999

Основание моей привязанности — нравственное. Хотя мне все нравилось в ее теле, в фигуре, в слабом коротеньком мизинчике (удивительно изящные руки), в «одной» ямке на щеках (после смерти первого мужа другая ямка исчезла), — но это было то, что только *не мешало* развиться нравственной любви.

В христианском мире уже только возможна нравственная любовь, нравственная привязанность. *Тело как святыня* (*Ветх. Зав.*) действительно умерло, и телесная любовь невозможна. Телесная любовь осталась только для улицы и имеет уличные формы.

Я любил ее, как грех любит праведность, и как кривое любит прямое, и как дурное — правду.

Вот отчего в любви моей есть какое-то странное «разде-

---

\* т. е. без некоторой тени его, осуществления его на земле, «осознательного его».

ление». Оно-то и сообщило ей жгучесть, рыдание. Оно-то и сделало ее вечным алканием, без сытости и удовлетворения. Оно исполнило ее тоски, муки и необыкновенного счастья.



Почти всегда, если мы бывали одни и она не бывала со мною (не разговаривала), она молилась. Это и раньше бывало, но за последние 5-6-7 лет постоянно. И за годы, когда я постоянно видел возле себя молящегося человека,— мог ли я не привыкнуть, не воспитаться, не убедиться, не почувствовать со всей силой умиления, что молитва есть лучшее, главное.

(ночью в слезах, 1-го ноября, в постели).

#### 9999

Я возвращаюсь к тому идеализму, с которым писал «Легенду» (знакомство с Варей) и «Сумерки просвещения» (жизнь с нею в Белом). К старому провинциальному затишью. Петербург меня только измучил и, может быть, развратил. Сперва (отталкивание от высокопоставленного либерал-просветителя и мошенника) безумный консерватизм, потом столь же необузданное революционерство, особенно религиозное, антицерковность, антихристианство даже. К нему я был приведен семейным положением. Но тут надо понять так: теперешнее духовенство скромно сознает себя слишком не святым, слишком немощным, и от этого боится пошевелиться в тех действительно святых формах жизни, «уставах», «законах», какие сохранины от древности. Будь бы Павел: и он поступил бы, как Павел, по правде, осудив ту и оправдав эту. Без этого духа «святости в себе» (сейчас) как им пошевелиться? И они замерли. Это не консерватизм, а скромность, не черствость, а страх повредить векам, нарушив «устав», который привелось бы нарушать и в других случаях и для других (лиц), в случаях уже менее ясных, в случаях не белых, а уже серых и темных. Пришлось бы остаться, с отмененным «Уставом», только при своей совести: которая если не совесть «Павла», а совесть Антониев, и Никонов, и Сергиев, и Владимиров, и Константинов (Поб.)— то как на нее возложить тяжесть мира? «Меня еще не подкупят, а моего преемника подкупят»: и станет мир повиноваться не «Уставу», а подкупу, не формализму, а сулящему. И зашатается мир, и погибнет мир.

Так мне и надо было понять, что, конечно, меня за..... никто не судит, и Церковь нисколько не осуждает...., и нисколько не разлучает меня с....., а только она пугается это сделать вслух, громко, печатно, потому что «в последние времена уже нет Павлов, а Никандры с Иннокентиями». Потому что дар пророчества и первосвященничества редок, и он был редок и в первой церкви Ветхозаветной, и во второй Новозаветной. Аминь и мир.



3 ноября.

Все погибло, все погибло, все погибло.  
Погибла жизнь. Погиб самый смысл ее.  
Не усмотрел.

”

Так любил ее, что никак не мог перестать курить ночью.  
(Правда — пытался: но она сама говорила: «покури»—  
и тогда я опять разрешал).



5 ноября.

Ах, господа, господа, если бы мы знали все, как мы бедны...  
Если бы знали, до чего мы убоги, жалки...  
Какие мы «дарвинисты»: мы просто клячи, на которых  
бы возить воду.

Просто «собачонка из подворотни», чтобы беречь дом доб-  
рой хозяйки.

И она бросает нам кусок хлеба.  
«Вот и Спенсер, и мы».  
«И сочинения Огюста Канта, Милля и Спенсера, и женский  
вопрос» (читал гимназистом).  
И «предисловие Цебриковой».

,

Родила червяшка червяшку.  
Червяшка поползала.  
Потом умерла.



Вот наша жизнь.

(3-й час ночи).

99

...выберите молитвенника за Землю Русскую. Не ищите (выбирая) мудрого, не ищите ученого. Всё не нужно хитрого и лукавого. А слушайте, чья молитва горячее — и чтобы доносил он к Богу скорби и напасти горькой земли нашей, и молился о ранах, и нес тяготы ее.

(к выбору патриарха всея Руси; толки).

999

Жизнь — раба мечты.

В истории истинно реальны только мечты. Они живучи. Их ни кислотой, ни огнем не возьмешь. Они распространяются, плодятся, «овладевают воздухом», вползают из головы в голову. Перед этим цепким существованием как рассыпчаты каменные стены, железные башни, хорошее вооружение. Против мечты нет ни щита, ни копья.



А факты — в вечном полинянии.



7 ноября

К Б. меня нечего было «приводить»: со 2-го (или 1-го?) курса университета не то чтобы я чувствовал Его, но чувство

присутствия около себя Еgo — никогда меня не оставляло, не прерывалось хоть бы на час. Я был «полон Б.» — и это всегда.

Но к Х. нужно было «привести».

То неужели вся жизнь моя и была,— с 1889-го года,— «приведением» сюда? С 1889-го и вот до этого 1912 г., и даже, определенное, до 7 ноября, когда впервые «мелькнуло»...

Ведь до этого 7 ноября я б. совершенно «вне Его». До такой степени, как может быть ни у кого. Но сказано: «и оружие пройдет тебе сердце»...

Так вот что «приводит»...



Не смиренные смиренны, а те, которые были смирены.  
Но этой точки я не хочу: она враждебна мне. Нет — Рок.  
И потом — смиренье.



Томится душа. Томится страшным томлением.  
Утро мое без света. Ночь моя без сна.



Это мамочка моя, открыв что-то, показала мне: «Что это такое? Как верно».

Я взглянул и прочитал:

«На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком».

Это из Иова (III, ст. 23). И я подумал: «Вот что я хотел бы вырезать на твоей могиле, моя бедная». Это было лет 18-ть назад.

Почему я ее всегда чувствовал, знал бедной. Как и у нее, у меня была безответная тревога, теперь объяснившаяся (давняя болезнь). Казалось,— все обеспечено, все дети отданы в лучшие школы, мамочка, кажется бы, «ничего»: а мысль «бедная! бедная!» сосала душу. К этой всегдашней своей тоске, тревоге я и отношу некрасовское

Еду ли ночью по улице темной

так как я часто езжу в редакцию (править корректуры). И всегда — тоска, точно завтра начнется светопреставление.



У меня чесотка пороков, а не влеченье к ним, не сила их.

Это — грязнотца, в которой копошится вошь; огонь и пыл пороков — я его никогда не знал. Ведь весь я тихий, «смиренномудрый».

И часто за чайным столом, оглядывая своих гостей,— и думая, что они чисты от этих пороков,— с какой я тайной завистью, и с благодарностью (что чисты), и мукой греха смотрю на них.

И веду разговор о литературе или Рел-фил. собр., едва сознавая, о чем говорю.



8 ноября.

Вся жизнь моя была тяжела. Свнутри грехи. Извне несчаствия. Одно утешение было в писательстве. Вот отчего я постоянно писал.

,

Теперь все кончилось. «Подгребаю угольки», как в истопившейся печке. Скоро «закрывать трубу» (†).

»

У меня было религиозное высокомерие. Я «оценивал» Церковь, как постороннее себе, и не чувствовал нужды ее себе, потому что был «с Богом».

Помню, в Брянске, я с высокомерием говорил: «Он церковник», или еще: «Да, он — церковник, но это вовсе не то, что религиозный человек»... «Я не церковник, но я религиозный человек».

Но пришло время «приложиться к отцам». Уйти «в мать землю». И чувство церкви пробудилось.

Церковь — это «все мы»; церковь — «я со всеми». И «мы все с Богом».

В отличие от высокомерной «религиозности» — «церковное» чувство смиленно, просто, народно, общечеловечно.

999

Философы да и то не все, говорили о Боге; о «бессмертии души» учил Платон. Еще некоторые. Церковь не «учила», не «говорила», а *повелевала* и верить в Бога, и питаться от бессмертия души. Она одна. Она всегда. Непременно. Без колебания.

Она несла это Имя, эту Веру, это Знамя без колебания, с времен древних, и донесла до наших времен. О сомневающемся она говорила: «Ты — *не мой*». Нельзя представить себе простого дьячка, который сказал бы: «Может быть, бессмертия души и — *нет*». Всякий дьячок имеет уверенность в том, до чего едва додумался и едва имел силы досягнуть Платон.

«Сумма учений Церкви» неизмерима сравнительно с Платоновой системой. И так все хлебно, так все просто. Она подойдет к роженице. Она подходит к гробу. Это нужно. Вот «нужного»-то и не сумел добавить к своим идеям Платон.

Что же такое наши университеты и «науки» в Духовных Академиях сравнительно с Церковью?

Трава в лесу. Нет: трава в мире (космос).

Мир — Церковь.

А науки, и университеты, и студенты — только трава, цветочки: «пройдет серп и скосит их».

9999

Кто догадался подойти со словом к умирающему? Кто подумал, что надо протянуть руку роженице?

Спенсеру это не пришло на ум.

Боклю — не пришло.

Даже Платону на ум не пришло, ни Пифагору в Пифагорейском Союзе. Не знаю, приходит ли ксендз, но пастор наверно не приходит. «Слишком грязно и душно» в комнате роженицы.

Православный священник приходит.

99999

Не дотягивал я многого в церкви. Редко ходил с детьми в церковь. Но это «редко» так счастливо вспоминается. Это свет.

И такой «свет» разлит по всей стране. «Приходи и бери его даром». Кто не ленив — приходи все. Какой это недостаток по селам, что там нет службы в будние дни. Это недосмотрено. Приходили бы старухи. Приходили бы дети. Ведь это поучение.

Зачем священников обременили статистикой? И всячими глупостями, кроме прямого их дела, которое не исполнено.

999999

У русских нет сознания своих предков и нет сознания своего потомства.

«Духовная нация»... «Во плоти чуть-чуть»...

От этого — наш нигилизм: «до нас ничего *важного* не было». И нигилизм наш постоянно радикален: «мы построим все *сначала*».

9999999

Скоро кончатся мои дни... О, как не нужны они мне. Не «тяжело это время», но *каждый час тяжел*.

99999999

Все больше и больше думаю о церкви. Чаще и чаще. *Нужна она мне стала*. Прежде любовался, восхищался, соображал. Оценивал пользу. Это совсем другое. *Нужна мне* — с этого начинается все.

До этого в сущности и не было ничего.

999999999

Церковь основывается на «**НУЖНО**». Это совсем не культурное воздействие. Не «просвещение народа». Все эти категории пройдут. «Просвещение» можно взять у нигилистов <...>

**МНЕ НУЖНО:** вот камень, на котором утверждается церковь.

99999999

Отпустим им грех их, дабы и они отпустили нам грех наш.

(о духовенстве, 8 ноября,  
глубокая ночь).



Ведь их — сословие. И все почти — в священники, диаконы; как же не человеку, а *сословию* — быть без дурных людей, порой — ужасных людей. В иерейство идут «сплошь», без отбора зерна. И колос тó пустой, тó хилый, тó со спорыней: и из 100 — один полновесный. Так естественно.



Простим им. Простим им. Простим им. Простим и оставим. Все-таки «с Рюрика» они молятся за нас. Хладно, небрежно: а все-таки им велели сказывать эти слова.

Останемся при «все-таки». Мир так мал, так скорбен, положение человека так ужасно, что ограничим себя и удовольствуемся «все-таки»...

И «все-таки» Серафим Саровский и Амвросий Оптинский был *из них*. Все-таки не из «литераторов»...

У литераторов нет «все-таки».

У литераторов — бахвальство.



9 ноября.

Воображать легче, чем работать: вот происхождение социализма (по крайней мере ленивого *русского социализма*).

,

Кузнецов, трудовик 2-й Думы, пойман как глава мошенническо-воровской шайки в Петербурге. Это же ужасно.

Об этом не кричат газеты, как о «Гурко-Лидваль» целый месяц по 3—4 столбца в каждом №. И впечатление от двойного отношения газет: администрация — воры, от которых спасают Россию — трудовики.

(натолкнулся случайно в газетах, разыскивая «Дело Мартынова»).

99

Завтра консилиум из 4-х докторов: «можно ли и целесообразно ли везти за границу». Тане — материя на белое платье (25 р.). Вечеринка в гимназии, с приглашением знакомых. Можно позвать мальчиков Акимовых, очень воспитанных и милых.

Так одни цветы увядают, другие расцветают. Уже 13 л. работы в «Н. Вр.»: я рассчитывал в начале ее на 10 лет, чтобы оставить 20000 р. детям. Теперь же можно и самому «закрыть трубу». Но нет мужества. Не составлено дух. зав., и не знаю, как писать. В банке долгу 5000, и «на заграницу» придется взять тысячи 3. Останется детям 30000, и изданные книги, с оплаченными счетами типографиям, будут давать доходу рублей по 600.

Но один взнос платы за ученье требует 2000 р. в год. Не понятно, откуда это возьмется, если «закрыть трубу».



Два года еще *должен* жить (расплатиться с типографией и долг банку).



Мой переиспуг и погубил все...

Анфимов (харьк. проф.) верно (почти) определил все (1896 г.) У меня руки повисли. А они должны были подняться и работать.

Если бы я не был так испуган, я начал бы, по приезде в Петерб., лечение, не перепроверяя у Бехтерева. И все было бы спасено: не было бы ни миокардита, ни перерождения сосудов, ни удара (Карпинский).

Т. е. З-х вещей, которые сломили нашу жизнь.

Не было бы мрака в дому, «тревог», неопределенного страха. Вся жизнь, начав с сотрудничества в «Нов. Бр.» (обеспечение), потекла бы совсем иначе, веселее, жизненнее, открытее. Связнее с людьми.

Мамочка, которая гибла, не убегала бы так от людей, с нелюдимостью, «не нужно», с «все тяжелы и никого не хочется видеть», особенно не хочется видеть — веселья и радости.

(10 ноября).



16 ноября.

Ни Новоселов, ни Флор., ни Цвет., ни Булгаков, которые все время думают, чувствуют и говорят о церкви, о христианстве, ничего не сказали и, главное, не скажут и потом ничего о браке, семье, о поле. Вл. Соловьев написал «Смысл любви», но ведь «смысл любви» — это естественная философская тема: но и он ни одной строчки в десяти томах «Сочин.» не посвятил разводу, девственности вступающих в брак, измене, и вообще терниям и муке семьи. *Ни одною строчкой ей не помог.* Когда я издал два тома «Семейного вопроса в России», то на книгу не только не обратили никакого внимания, но во всей печати о ней не было сделано ни одной рецензии и ни одного указания или ссылки.

«Семейного вопроса в России» и не существует. И семья насколько страшно нужна каждому порознь, настолько же вообще все, коллективным национальным умом, коллективным христианским умом, собирательным церковным сердцем — к ней равнодушны и безучастны.

Это дело полиции и консистории,— дело взятки, протокола и позорного судьбища. Как ясно, что оно *именно не «тайство»*, а грязь и мерзость во *всем ее реальном содержании* (*«два в плоть едину»*) — как об этом все они и говорят в сердце своем, в сочинениях своих, в молчании своем.

Фл. мог бы и смел бы сказать: но он более и более уходит в сухую, высокомерную, жестокую церковность. «Засыхают цветочки» Франциска Ассизского.

(посвящается добromу священнику  
Н. Р. Антонову).

,

О леность мою разбивался всякий наскок.  
И классическая гимназия Толстого, и десять заповедей.  
И «как следует держать себя».  
Все увязало в моей бесформенности (как охотник в болоте).

”

Когда болит душа — тогда не до язычества. Скажите, кому «с болеющей душой» было хотя бы какое-нибудь дело до язычества?

” ” ”

Я жму руку всем, и все жмут мою руку. Глазами смотрю на весь мир, и весь мир смотрит мне в глаза. Обоняю и фиалку, и розу, и нарцис. Слушаю шум леса, и прибой моря, и музыку Бетховена, и русскую заунывную песню.

Какая *проституция* во всем! Поистине я «всем принадлежу, и все принадлежат мне». Кроме одного органа.

Который, если я отдаю еще кому-нибудь, кроме *единого* — все поднимают на меня камни.

Какое чудо: значит, он *один* во мне целомудрен? Один «и допустить не может», чтобы его коснулись *все* или он коснулся *всех*: — т. е. непроституционен «в самом себе», в «своей натуре».

Ибо, побивая, все побивают меня не за грех против них... Какой? *Им* я причинил удовольствие!

А — за грех против *натуры органа!* Таинственное «побивание камнями» (воистину таинственное!), как мировое «осуждение за разврат», есть символ, что весь мир почтает себя страшем моего единичного органа, именно его целомудрия, именно его непроституционности.

Какое чудо!

Ведь казнят не орган, отрывая, укалывая, уродуя: ему ничего не делают, «как невинной Еве»; а казнят носившего его человека, за то, что не оберег его чистоты и невинности.

Вот «от сложения мира» вписанное в существо вещей доказательство «*cultus phalli*»\*.

\* Фаллический культ (лат.).

Теперь объясняется строка, когда-то поразившая меня в Талмуде: что «побиение камнями» было привилегией иудеев и иудеянок, которого не имели право распространить на согрешивших в другом племени, если они жительствовали в Иерусалиме или в Иудее. «Побиение» было неотделимо от «обрезания».



17 ноября.

Гнусность печати, м. б., имеет великую и святую, нужную сторону: «проходит лик мира сего» (Достоевск.).— Ну, не очень еще... Но вот, что «проходит лик печати»,— это довольно явственно в распространяющемся и неустранимом гнушении ею, которое замечается всюду. Не читают. Бросают. Никто на нее не ссылается. Никто не ставит в авторитет.

«Прекрасное обольщение кончилось».

Но это было именно «обольщение», «наваждение Гуттенберга». Пока печатались Гете и Шиллер — о «конце» этого обольщения нельзя было и думать. «Пришло царство и конца его не будет во веки».

Нужно было, чтобы стали падать писатели. Чтобы пошла вонь, смрад. «А,— это дело». Стал проходить «гуттенбергов станок».— «Чем печатать такую ерунду, тó лучше вовсе ничего не печатать». К концу XX-го века типографии будут продаваться на снос.

Их никто не покупает,  
Никто даром не берет.

Люди станут опять свободны от «пишущей братии»,— и, м. б., тогда выучатся танцевать, устраивать рауты, полюбят музыку, полюбят обедню, будут опять любить свято и чисто-сердечно. Будут счастливы и серьезны.

Ибо при «печати»— конечно, людям счастья и серьезности «как своих ушей не видать».

Будет опять возможна проповедь. Будет Саванаролла. Будет возможен Ап. Павел.

Неужели будет? Неужели заиграют эти зори.

Зори прекрасного и великого.

Новое. Все новое.

Так идите же, идите, гуше идите, Григорий Петров, и Амфитеатров, и «Копейка», и Боборыкин, и все вы, сонмы Бобчинских. Идите и затопляйте все. Ваш час пришел. Располагайтесь и празднуйте.

В празднике вашем великие залоги.

Все скажут: «Как дымно. Откуда горечь воздуха. И тошнота. И позыв на низ».

9

Да, мимо меня идет литература.

Нет, это ошибка, что я стал литератором.

Да, мимо идет.

(17 ноября: при мысли, что ни одной статьи не прочел в «Вестн. Евр.», «Русск. М.», «Современ.» и еще в чем-то получаю — за весь год, да ни одной и за прежние годы... Это только в оловянную голову может влезть. Да: еще получаю «Современ. Мир»).

Оловянная литература. Оловянные люди ее пишут. Для оловянных читателей она существует.

Sic и finis\*.

Конечно, Фл. ее не читает. Цв. не читает. Рцы читает только Ап. Павла и «Нов. Вр.».

Из умных никто. И я. А остальные — к черту. И даже к тем двум буквам в «Уед.», увидая которые цензура почувствовала, что она лишена невинности.

99

...>



В 1895-6 году я определенно помню, что у меня не было тем. Музыка (в душе) есть, а пищи на зубы не было.

Печь пламеет, но ничего в ней не варится.

Тут моя семейная история и вообще все отношения к «другу» и сыграло роль. Пробуждение внимания к юдаизму, интерес к язычеству, критика христианства — все выросло из одной боли, все выросло из одной точки. Литературное и

\* Так и конец (лат.).

личное до такой степени слилось, что для меня не было «литературы», а было «мое дело», и даже литература вовсе исчезла вне «отношения к моему делу». Личное перелилось в универсальное.

Да это так и есть на самом деле.

Отсюда моя неряшлисть в литературе. Как же я не буду неряшлив в своем доме. Литературу я чувствую как «мой дом». Никакого представления, что я «должен» что-нибудь в ней, что от меня чего-то «ожидают».



На «том свете» я спрошу:

— Ну, что же, Вера, доносила старые калоши?

Потому что на этом свете она спросила:

— Барин, у вас калоши-то худые. Отдайте их мне.

И я,— засыпая после обеда, сказал:

— Возьми, Вера.

Она была черная, худая и мертвенная, лет 45-ти, но очень служила мне верной службой.

Я не догадался ничем ее отдарить. Не пришло на ум (действительно). А теперь почему-то мучит и вспоминаю. Это было 23 года назад.

Она была безмолвная и безответная. Огурцы засолила. Подает в сентябре. Твердые-претвердые.

— Что это за нелепые огурцы, Вера?

— Это с острогоном. Крепче. Через 2 недели будут совсем хороши.

Котлеты. И — ягоды черные!!!

— Это что за нелепость, Вера????!!!

— Я у купцов так готовила. С черносливом.

И действительно было приятно.

(в Ельце).



У Родзевича была горничная. Очень милая. Он же был жесток (учитель математики).

Тогда я, Страйков, Запольский, Штейн (жили у Василия Максимовича, на верху) решили ему отомстить за вечные двойки.

По длинному нижнему коридору (учительскому) она несла барину суп. Обе руки заняты. «Точно нас осенило»: мы подскочили с трех сторон и стали... чего-то искать у нее в кофте. Волнуется, бранится, но ничего не может поделать (руки заняты). И бежать не может (уронит миску). Бранится. У нас руки как таракашки по ней бегают. Но ничего особенного, и вообще скромно. IV класс Гимназии... «Глупыши и не понимаем». Нам бы надругаться над Родзевичем.

Он был поляк, католик, ханжа и сослан в Нижний за «бунт». Бесцеремонно он всем полякам ставил не менее 3-х (даже Горскому, который ничего не знал и нагло манировал); нам же, русским, почти сплошь ставил двойки.

Он был маленький, почти крошечного роста, с козлиной бородой, худой, злобный, и почему-то вокруг шеи наматывал длиннейший грязный шарф.

Голос — громобывий. Сущий сатир или дьявол.

На другой день, войдя на кафедру, но не садясь, он гробовым глухим голосом, не понятно ни для кого в классе (кроме «нас четырех»):

«— И вы-ы-ы! — Бормотанье... — Испорченные ю-ю-ю-юноши... Некоторые из вас... Осмеливаются... Даже своих наставников не уважать»...

Но он был до того хитер, что в этот урок никого из нас не вызвал к доске (доказывать теорему).

Только потом мучил.

(в Нижнем).



Любовь продажная кажется «очень удобною»: «у кого есть пять рублей, входи и бери». Да, но

Облетели цветы  
И угасли огни...

Что же он берет? Кусок мертвый резины. Лайковую перчатку, притом заплеванную и брошенную на пол, которую подымает и натягивает на свою офицерскую руку и свою студенческую руку. «Продажная любовь» есть поистине гнусность, которая должна быть истреблена пушками (моя гимназическая мечта), порохом и ножом. На нее нужно смотреть, как на выделку «фальшивой монеты», подрывающей «кредит государ-

ства». Ибо она, все эти «лупанары» и *переполняющие улицы* ночью шляющиеся проститутки,— «подрывают кредит семьи», «опровергают семью», делают «не нужным (осозательно и прямо) брак». Ну, а уж «брак» и «семья» не менее важны для нации, чем фиск, казна.

Но «проституция ничему не уступает»: свидетельство истории. И, значит, «пусть она будет», но совершенно *в ином виде*, чем теперь: не в виде бродячих грязных собак, шляющихся «для всякого» по улице, не в виде «мелочной лавочки», где каждый берет «на три копейки семячек». Нужен *иной ее образ*: не оскверняющий, не развращающий.

Как-то у меня мелькнуло в уме: в часы вечера, между 7-9 (и только), все свободные (без мужей и не «лунного света») выходят и садятся на деревянные лавочки, каждая перед своим домом, и скромно одетые,— держа каждая цветок в руке. Глаза их должны быть скромно опущены книзу, и они не должны ничего петь и ничего говорить. Никого — звать. Прогодящий, остановясь перед той, которая ему понравилась, говорит ей привет: «Здравствуй. Я с тобой». После чего она встает и, все не взглядывая на него, входит в дом свой. И становится в этот вечер женою его. Для этого должны быть назначены определенные дни в неделе, в каждом месяце и в целом году. Пусть это будут дни «отпущененной грешницы» — в память ее.

. . .  
. . .  
В разряд этот войдут вообще все женщины страны,— или города, большого села,— неспособные к единобрачию, не-

способные к правде и высоте и крепости единобрачия. Они не должны быть ни порицаемы, ни хвалимы. Они — просто факт. Но они очень должны наблюдать себя, свою телесную чистоту, свое нервное (полное) спокойствие. Они должны быть постоянно свежи: от этого изгоняется каждая, принявшая двух в один вечер (теперь сплошь и рядом), принявшая кого-нибудь в дни своего «месячного очищения», и вообще в «непозволенные дни». Через это «кабак» проституции устранился, а «душа проституции», которая есть, выберется из-под мусора. Разумеется, у них должны быть дети, вообще они должны быть детные. Они — семьянинки: «но — вдовствующие» с каждым утром и каждый вечер «вновь выходящие замуж» (психология, чувство самосознания, отнюдь не убитое и не умаленное).

Мне рассказывал один портной историю своего брака: он «и не видал жены своей», дочери швейцара в чрезвычайно высокопоставленном доме. Ей было всего 17 лет, и, как потом он узнал, родители говорили ей: «Ты хоть постой за венчанием» (т. е. «а потом — поступай, как знаешь»). Она была совершенно неудержима в «отдачах» и не могла не отдаться каждому, кто ей понравился («приглянулся»). Муж (хмурый мещанинишка, — прилежный, «одна проза») был ей совершенно противен, и она, уже спускаясь с лестницы после венца, не позволила ему подать себе пальто, неглижерски отвернувшись от него. «Ко мне в дом она взяла тетку, которая с нею спала в одной комнате, в эту первую брачную ночь». Дней через 5 она переехала к родителям. Ежедневно с двоюродною сестрою мужа она уходила на холостую квартиру своего кузена, и он был ей «муж» на час. Родители уже не сдерживали: ничего нельзя было сделать. Замечательно, что на ее сторону стала и полиция (была обаятельна?) и посадила жененька «в холодную» или вообще «к себе», — и держала, «пока не даст паспорта (ей) на отдельную от себя жизнь». Он не давал, пока не пришел ко мне советоваться (тогда я писал о разводе). Я сказал, что знал, т. е. что «Св. Церковь ему развода не даст («ибо без свидетелей») и он должен претерпеть». Он, главное, был возмущен, что она мешает его работе, его укладу жизни, что он «не в спокойных мыслях», — не понимая сам, «муж или не муж». Такую же еще раз я встретил (ее рассказ) — образованную, красивую, в высшей степени скромную в (манерах), и об одной такой мне рассказывала поразительную историю Евгения Ивановна, добавлявшая: «Я не могла ее не любить, до того она была вся милая и приятная». Сама Евг. Ив. абсолютно целомудрена. Вот факты.



...Как поршень действует в цилиндре насоса? — под поршнем образуется пустота. И природа с ее *terror vacui*\* стремится наполнить ее. Выступают и поднимаются воды земли, собираются воды земли (почвы) и устремляются к уходящему поршню... И жизнь, и силы, и кровь. Вот отчего «весь организм» как бы собирается в одну точку. И, поистине, эта точка и в это время есть «фокус организма и жизни», — подобно как есть «фокус» в оптических стеклах.



Оплодотворение детей входит неописуемым чувством в родителей: — «Вот я прикрепился к земле», «Земля уроднилась мне», «теперь меня с земли (планеты) ничего не ссадит», не изгладит, не истребит.

Отсюда обряд, песни, цветы, у всех народов, у нас — венчание; белое платье, венцы на головы брачующихся.

Но это — глубже, это не обряд; обряд пришел «совсем потом» и показует не свою важность, а *важность того, к чему он прикрепился*.

Отсюда же в древности «пир происходил», когда новобрачные уже отводились в опочивальню (в Иерусалиме — в «хулпу»), и они начинали совокупляться во время самого пира; у нас, русских, до последнего времени выносилась «в пир» и показывалась гостям снятая после совокупления сорочка новобрачной, со всеми знаками *его* силы и *ее* чистоты. Но это — не «проверка»: разве психология пира такова, чтобы «расматривать подпись на долговой расписке». Совершалось это вначале по наивной и открытой радости родителей, что крови начали уже сливаться, два рода — *его* род и *ее* род — слились в одну реку, срослись в один ствол Вечного Дерева; — что «Древо Жизни» преуспело и снесло еще яблоко. У Андрея Т. Болотова, в его «Записках», описывается подробно этот вынос рубашки новобрачной. В Смоленской губернии торжество омоченной срачицы сохраняется до сих пор в благочестивом простом народе, у мещан по городам и везде в селах.

Но все это — «приложилось». В основе лежит чувство ро-

\* Страх пустоты (лат.).

дителей, как бы вторично и более полным образом рождающихся в мире. Совокупление детей есть для родителей собственное их второе рождение. Едва крови — прорвав ткани — слились, как в родителей входит метафизическое знание, что от них отделилась нить, которая связалась в узел с нитью, вышедшей из пуповины «кого-то другого», «совсем нового», «чуждого вот нашему роду». Это близко к тому, как насекомое-наездник, опустив яйцевод, — просверливает кожу куколки и опускает в тело куколки яйцо свое, из коего вылупится «я» этого наездника и будет питаться телом этой куколки. Только там это — жестоко и убийственно, а здесь это благо, любящее, в наслаждение «яйцекладчиков» и в Вечную Жизнь. Отсюда же древние обычай: что финикиянки выходили на берег и отдавались приплывавшим иностранцам, т. е.— «как тело куколки», но сладко, «принимали яйцо наездника», чтобы унести себе его в дом и там родить и вырастить. Отсюда же почти везде в древности существовавшая «семейная проституция», которая на самом деле есть вовсе не это отвратительное и денежное ремесло, но тоже «приятие себе в дом яйца», как некоторой абсолютной мировой ценности, что ведь в сущности и есть так. Поэтому она никого не оскорбляла, а оскорблял, на-против, отказ иностранца, путника или гостя дать яйцо. «Как курица — побыла сутки в доме, но ничего не оставила». Это обижало, это отталкивало, это разделяло, это вводило людей в тоску и слезы. Напротив, «приняв яйцо», радовались и гоготали, как курица после яйценесения. Курица-то почему кричит? Да что она «принесла пользу миру»; более «не чужая миру»; она кричит: «мир — мой», а «я — мировая», т. е. мировая вещь, мировое лицо; я теперь «мировое существо» — в «середочках», а не «с краешку» (конец мира).

Если курица чувствует, насколько ярче и сильнее чувствует человек!

Дети — не верьте родителям: они скрываются.

Проклятое уныние склонило чело их долу. Но это — тоска времени, и она пройдет.

Поднимите глаза: солнце восходит.

Солнце жизни...

Солнце улыбок...

(открытие Розанова)





...да Писарев и «Современник» и есть Нат-Пинкертон. Так же просто, плоско, такая же «новая цивилизация» и приложение «последних данных науки». И все — так же решительно и смело. Непонятно, чему Чуковский стал удивляться.

(клиника Ел. П.: «Чуковский год назад читал об этом лекцию: «Откуда увлекаются Нат-Пинкертоном?»)



И пусть у гробового входа  
Младая будет жизнь играть,  
И равнодушная природа  
Красою вечною сиять.

Кто-то где-то услышав, заплакал.

Писарев поднялся:

— **НЕ-ПО-НИ-МА-Ю.**

Неописуемый восторг разлился по обществу. Профессора, курсистки — все завизжали, захлопотали, загоготали:

— **ГЛУ-ПО.**



Какое оправдание «Поэта и черни». Писарев все защищал мужиков от Пушкина, тогда как Пушкин никогда мужиков не разумел. «Чернь» ходит в лакированных сапогах и непрерывно читает просветительные лекции.

«Чернь» — это Григорий Петров, Б. и Академия Наук с почетным членом Анатолием Федоровичем.

(в клинике Ел. П.)



Неужели все, что идут по улицам, тоже умрут?

Какой ужас.

(переходя площадь перед цирком Чиниз., в страхе).



И она меня пожалела как сироту.

И я пожалел ее как сироту (тогдашняя история). Оба мы были поруганы, унижены.

Вот вся наша любовь.



Церковь сказала «нет». Я ей показал кукиши с маслом.  
Вот вся моя литература.

(сидя над кроватью мамы; клиника Ел. П.).



Редко-редко у меня мелькает мысль, что напором своей психологичности я одолею литературу. Т. е. что «потом» будут психологичны — как я и «наши» (Рцы, Фл., Шперк, еще несколько, немного).

Какое бы счастье. Прошли бы эти «болваны». Ведь суть не в «левости», а в что болваны.



Кроме воровской (сейчас) и нет никакой печати. Не знаю, что делать с этой «б-ой державой» (Наполеон).



Главный лозунг печати: проклиной, ненавидь и клевещи.

(вспоминаю статьи по † Суворина).





Человека достойный памятник только один — земляная могила и деревянный крест.

Золотой же памятник можно поставить только над собакою.



Звездочка тусклая, звездочка бледная  
Все ты горишь предо мною одна.  
Ты и больная, ты и дрожащая  
Вот-вот померкнешь совсем...

(в кл. Е. П., — ходя где курят).



Чтобы пронизал душу Христос, ему надо преодолеть теперь не какой-то опыт «рыбаков» и впечатления моря, с их ни «да», ни «нет» в отношении Христа, а надо пронзить всю толщу впечатлений «современного человека», весь этот и мусор, и добро, преодолеть гимназию, преодолеть университет, преодолеть казенную службу, ответственность перед начальством, кой-какие танчишки, кой-какой флиртишко, знакомых, друзей, книги, Бюхнера, Лермонтова... и — вернуть к простоте рыбного промысла для снискания хлеба. Возможно ли это? Как «мусорного человека» превратить в «естественное явление»? Христос имел дело с «естественнymi явлениями», а христианству (церкви) приходится иметь дело с мусорными явлениями, с ломанными явлениями, с извращенными явлениями,— иметь дела с продуктами разложения, вывиха, изуродования. И вот отчего церковь (между прочим) так мало успевает, когда так успевал Христос.

Христианству гораздо труднее, чем Христу. Церкви теперь труднее, чем было Апостолам.

(в клинике Ел. П.) (30 ноября 1912 г.).



Старые, милые бабушки — берегите правду русскую.  
Берегите; ее некому больше беречь.



⟨...⟩



Благодари каждый миг бытия и каждый миг бытия уве-  
ковечивай.

(почему пишу «Уедин.»).

Смысл — не в Вечном; смысл в Мгновениях.

Мгновения-то и вечны, а Вечное — только «обстановка»  
для них. Квартира для жильца. Мгновение — жилец, мгно-  
вения — «я», Солнце.



Мир живет великими заворожениями.  
Мир вообще есть ворожба.  
И «круги» истории, и эпизоды планет.



Бог охоч к миру. А мир охоч к Богу.  
Вот религия и молитвы. Мир «причесывается» перед Бо-  
гом, а Бог говорит («Бытие», I) «Как это — хорошо». И каж-  
дая вещь, и каждый день.

Немножко и мир «ворожит» Бога: и отдал Сына своего  
Единородного за мир.

Вот тайна.

Ах, не холдеет, не холдеет еще мир. Это — только ка-  
жется. Горячность — сущность его, любовь есть сущность его.

И смуглый цвет. И пышущие щеки. И перси мира. И тайны  
лона его.

И маленький Розанов, где-то закутавшийся в его персях.  
И вечно сосущий из них молоко. И люблю я этот сосок мира,  
смуглый и благовонный, с чуть-чуть волосами вокруг. И дер-  
жат мои ладони упругие груди, и далеким знанием знает Гла-  
визация мира обо мне, и бережет меня.

И дает мне молоко и в нем мудрость и огонь.

Потому-то я люблю Бога.

*(24-го декабря 1912, у мамы в клинике).*  
*1915 г.*